

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Серебряная монетка



Жила-была монетка; она только что вышла из чеканки, чистенькая, светленькая, покатила и зазвенела: «Ура! Теперь пойду гулять по белу-свету!» И пошла.

Ребёнок крепко сжимал её в своём тёпленьком кулачке, скряга тискал холодными, липкими пальцами, люди, постарше, вертели и поворачивали в руках много раз, а молодёжь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она уже целый год гуляла по белу-свету, то есть по той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась путешествовать за-границу и оказалась последнею туземною монеткою в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о её существовании, пока она сама не попала к нему под руку.

– Вот как! У меня ещё осталась одна наша родная монетка! – сказал он. – Ну, пусть едет со мною путешествовать! – И монетка от радости подпрыгнула, и зазвенела, когда он сунул её обратно в кошелёк. Тут ей пришлось лежать с иностранными товарками, которые всё сменялись; одна уступала место другой, а наша монетка всё оставалась на своём; это уж было некоторого рода отличием!

Прошло несколько недель; монетка заехала далеко-далеко от родины, но куда – не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то или таком-то городе, но сама не имела о том никакого представления: не много увидишь, сидя в мешке, как она! Но вот

однажды монетка заметила, что кошелёк не закрыт; ей вздумалось выглянуть на свет Божий, и она проскользнула в щёлочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, ну и это не прошло ей даром! Она упала в карман брюк; вечером кошелёк из кармана вынули, а монетка осталась, где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол; никто не слышал, никто не видал этого.

Утром платье опять снесли в комнату; путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре её нашли на полу, и ей предстояло опять поступить на службу; она очутилась вместе с тремя другими монетками.

«Вот славно-то! Опять пойду гулять по свету; увижу новых людей, новые обычаи!» подумала монетка.

– Это что за монетка? – слышалось в ту же минуту. – Это не ходячая монета. Фальшивая! Никуда не годится!

Тут-то и начались для монетки мытарства, о которых она потом рассказывала.

– «Фальшивая! Никуда не годится!» Меня так и пронизало насквозь! рассказывала она. – Я же знала, что я чисто серебряная, хорошего звона и настоящей чеканки! Верно люди ошиблись, – не могли они так отзываться обо мне! Однако, они говорили именно про меня! Это меня называли фальшивою, я никуда не годилась! «Ну, я сбуду её с рук в сумерках!» сказал мой хозяин и сбыл таки. Но при дневном свете меня опять принялись бранить: «Фальшивая!», «Никуда не годится!», «Надо её поскорее сбыть с рук!»

И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как её подсовывали кому-нибудь вместо ходячей туземной монеты.

– Ах, несчастная я монетка! Что толку в моём серебре, в моём достоинстве, чеканке, когда всё это ни к чему! В глазах света останешься тем, за кого он тебя примет! Как же должно быть ужасно иметь нечистую совесть, пробиваться вперёд нечистыми путями, если мне, ни в чём неповинной, так тяжело потому только, что я кажусь виновною!.. Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу того взгляда, который бросят на меня сейчас: я, ведь, знаю, что меня сейчас же отшвырнут в сторону, бросят, точно я обманщица!

Раз я попала к одной бедной женщине; она получила меня в уплату за тяжёлую подённую работу. Но ей-то уж никак не удавалось сбыть меня с рук, – никто не хотел брать меня; я была для бедняги сущим несчастьем.

«Право, поневоле придётся обмануть кого-нибудь!» сказала женщина. «Где мне, при моей бедности, беречь фальшивые деньги! Отдам-ка её богатому булочнику; он-то не разорится от этого! Но всё-таки нехорошо это! Сама знаю, что нехорошо!»

«Ну, вот теперь я буду лежать на совести у бедной женщины!» вздохнула я. «Неужели же я, в самом деле, так изменилась от времени?»

И женщина отправилась к богатому булочнику; но он слишком хорошо знал все ходячие монеты, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили, – он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так грустно, так грустно сознавать, что я отчеканена на горе другим! Это я-то, я, когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне! И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Женщина же принесла меня обратно домой, добродушно-ласково поглядела на меня и сказала: «Не хочу я никого обманывать тобою! Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая... А впрочем... Постой, мне пришло на ум – может быть, ты счастливая монетка? Право, так! Я пробью в тебе дырочку, продёрну шнурок и повешу на шейку соседкиной девочке – пусть носит на счастье!»

И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитой, но ради доброй цели можно перенести многое. Через дырочку продёрнули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку малютки; малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тёпленькой невинной детской груди.

Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня и что-то задумала, – я сейчас же догадалась! Потом она взяла ножницы и перерезала шнурок.

«Счастливая монетка!» сказала она. «Посмотрим!» И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела, потом затёрла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу

лотерейных билетов, купить на счастье билетик.

Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам! Я, ведь, знала, что меня обзовут фальшивую, осрамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкою. Но, нет! Я проскользнула! В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что не глядя бросил меня в выручку к другим монетам. Выиграл ли купленный за меня билет – не знаю, но знаю, что на другой же день меня признали фальшивую, отложили в сторону и опять отправили обманывать – всё обманывать! А, ведь, это просто невыносимо при честном характере, – его-то уж у меня не отнимут! Так переходила я из рук в руки, из дома в дом, больше года, и всюду-то меня бранили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня, и я сама больше не верила ни в себя, ни в свет. Тяжёлое выдалось для меня времечко!

Но вот, однажды явился путешественник; ему, конечно, сейчас же подсунули меня, и он был так прост, что взял меня за ходячую монету. Но когда он в свою очередь хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: «Она фальшивая! Не годится!»

«Мне дали её за настоящую!» сказал путешественник и взгляделся в меня пристальнее. Вдруг на лице его появилась улыбка; этого ещё не случалось при виде меня ни с одним лицом. «Нет, что же это!» сказал он. «Ведь, это наша родная монетка, хорошая, честная монетка с моей родины, а в ней пробили дырку и зовут её фальшивую! Вот забавно! Надо будет сберечь тебя и взять с собою домой!»

То-то я обрадовалась! Меня опять называют хорошею, настоящею монеткою, хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать, что я чисто серебряная, настоящей чеканки! Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре; искры испускает сталь, а не серебро.

Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетами и не затерять; вынимали меня только в торжественных случаях, при встречах с земляками, и тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересною, не говоря ни слова!

И вот, я попала домой! Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь; я, ведь, была чисто серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне была пробита дырка, как в фальшивой: что за беда, если на самом деле ты не фальшивая! Да, надо иметь терпение: перемелется – всё мука будет! В это я теперь твёрдо верю! – заключила свой рассказ монетка.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Старый церковный колокол (Написано для «Шиллеровского альбома»)

В немецкой земле, в Вюртемберге, где весной так чудесно цветут придорожные акации, а осенью яблоневые и грушевые деревья гнутся под изобилием зрелых плодов, есть городок Марбах. Он из числа маленьких, неважных городков, но расположен очень живописно у реки Неккара, что стремглав бежит мимо городов, старых рыцарских замков и зелёных виноградников, торопясь слить свои воды с гордым Рейном.

Стояла поздняя осень; виноградные листья окрасились в красноватый цвет; лили дожди, дул холодный ветер; для бедняков наступило не особенно весёлое время. Дни стояли серенькие, мрачные, а ещё мрачнее было внутри старых городских домишек. Один из этих домишек был обращён к улице не лицевой, а боковой стеной, с низенькими окошечками; неказист, беден был он с виду. Не богаче была и семья, обитавшая в нём, хотя честная,

трудолюбивая и богобоязненная. Скоро Господь должен был подарить им ещё ребёнка. Настал час, мать лежала в муках, вдруг на колокольне ударили в большой колокол, – был торжественный час богослужения. Глубоко отдался этот звук в сердце матеря и наполнил его благоговейною верою. Мысли её устремились к Богу, и в тот же момент Бог послал ей радость – у неё родился сын. Церковный колокол, казалось, звонил о радости матери на весь город, на всю страну. На мать глядели ясные детские глазки, кудри ребёнка отливали золотом. Ребёнок был встречен при своём вступлении в жизнь, в тёмный ноябрьский день, колокольным звоном. Мать и отец поцеловали сына и занесли в свою библию: «Десятого ноября 1759 г. Господь даровал нам сына»; позднее было приписано, что при крещении он получил имя Иоганна-Христофа-Фридриха.

Что же вышло из маленького парнишки, из бедного мальчугана, уроженца городка Марбаха? Да тогда-то ещё никто не знал, что из него выйдет; не знал даже сам старый колокол, как ни высоко он висел и как ни громко звонил, приветствуя появление того, кто впоследствии сам спел чудеснейшую «Песнь о колоколе».

Мальчик подрастал, вырастал в его глазах и весь мир. Родители переехали в другой город, но друзья их остались в Марбахе, поэтому мать с сыном и приехали туда однажды в гости. Мальчику было тогда всего шесть лет, но он уже знал кое-что из библии, знал псалмы и часто слушал, сидя на своём плетёном креслице, как отец читал по вечерам басни Геллерта и Мессиаду. У мальчугана навёртывались на глаза слёзы; сестра его, двумя годами старше, тоже плакала, слушая о Том, Кто принял крестную смерть ради нашего спасения.

Город, на взгляд вернувшихся сюда в гости, не особенно изменился; да и времени-то с их отъезда прошло не Бог весть сколько. Дома по-прежнему выставляли на показ свои остроконечные кровли, покривившиеся стены и низенькие окна, только на кладбище прибавились новые могилы, а у самой стены, в густой траве, лежал старый колокол. Он упал с колокольни, получил трещину и не годился больше к службе; на его месте висел уже новый.

Мать с сыном прошли на кладбище, остановились перед старым

колоколом, и мать стала рассказывать мальчику, как колокол этот в продолжение столетий делал своё дело, звонил и к крестинам, и к свадьбе, и к погребению, возвещал и о праздничной радости, и об ужасах пожара, словом – сопровождал звоном все важнейшие моменты человеческой жизни! И ребёнок запомнил рассказ матери; он звучал в детском сердце, пока мальчик не вырос и сам не воспел колокол. Мать рассказала также, как этот колокол утешил, обрадовал её своим звоном в час скорби и страха, приветствуя рождение её маленького сына. И мальчик посмотрел на огромный старый колокол с чувством, близким к благоговению, потом наклонился и нежно поцеловал его, даром что он был стар, надтреснут и валялся брошенный в крапиве.

Колокол запечатлелся в памяти мальчика, росшего в бедности. Худой он был, длинный, с рыжими волосами, весь в веснушках; зато у него были чудесные, ясные, глубокие, как море, глаза. Как же жилось ему? Хорошо, завидно хорошо! Он по особой высшей милости был принят в военную школу, в отделение, где воспитывались все дети знатных особ. Это была для него такая честь, такое счастье! Он носил штиблеты, высокий галстук и напудренный парик. И обучали его всему под звуки: «Марш! Стройся! Во фронт!» Как не выйти проку из такого обучения? Старому колоколу, конечно, суждено было попасть в переливку; а что же из него должно было выйти? Ну, этого предсказать было невозможно, как нельзя было предсказать и того, что выйдет из колокола, звучавшего в груди юноши. Этот колокол был из чистого металла, и звон его должен был разнестись по всему свету! И чем громче звучал он в груди юноши, тем теснее становилось тому в школьных стенах, тем оглушительнее раздавались в его ушах эти: «марш!», «стройся!», «во фронт!» Он и воспел этот колокол в кругу товарищей, но песня унеслась далеко за пределы страны! Но не за это же давались юноше воспитание и образование, одежда и пища! Он был занумерованным винтиком и должен был, как и все мы, приносить осязаемую пользу в огромном часовом механизме. Что ж, если мы и сами-то зачастую не понимаем самих себя, как же требовать, чтобы понимали нас другие, хотя бы и лучшие люди в свете! Но алмаз

образуется, ведь, именно высоким давлением; недостатка в давлении здесь не было, только суждено ли было свету узреть со временем алмаз?

Столица той страны праздновала большое торжество; горели тысячи лампочек, вспыхивали ракеты; весь этот блеск вспоминается ещё и поныне, благодаря юноше, который в это время в слезах и горе пытался незаметно перебраться в чужую страну. Он должен был выбрать одно из двух: покинуть своё отечество, мать, всех близких, или – захлебнуться в общем течении.

Старому колоколу было хорошо: он стоял в укромном месте, защищённый церковной стеною. Над ним гулял ветер и мог рассказать ему о том мальчике, чьё рождение колокол приветствовал своим звоном. Ветер мог рассказать, каким холодом обдавал путника, устало опустившегося на землю в лесу соседней страны, путника, всё богатство которого, все надежды на будущее заключались в исписанных листах, повествовавших о «Фиеско». Он мог бы рассказать и о единственных ценителях – всё, ведь, художниках – которые улизнули из комнаты во время чтения этого произведения и занялись игрою в кегли! Он мог бы рассказать о бледном беглеце, жившем недели, месяцы на бедном постоялом дворе, где сам хозяин пил и бушевал, где царило буйное веселье в то время, как юноша воспевал идеалы. Тяжёлые, мрачные дни! Но сердце должно выстрадать всё, о чём ему суждено петь.

Мрачные дни, холодные ночи пронеслись и над старым колоколом, но он-то не чувствовал их, как чувствует тяжесть своего земного испытания колокол в человеческой груди. Как же жилось молодому человеку? Как жилось старому колоколу? Да колокол отправился в далёкий путь, куда дальше, чем разносился когда-то с колокольни его звон, а звон колокола, звучащего в груди молодого человека, разнёсся ещё куда дальше; дальше, чем когда-либо ступала нога юноши, дальше, чем видел его глаз; звон этот разносится по всему свету ещё и до сих пор. Но послушай сперва о церковном колоколе! Его увезли из Марбаха, продали, как старую медь, в баварскую землю. Как же он туда попал и когда? Об этом пусть расскажет он сам, коли может; это

не важно. Нам довольно знать, что он попал в столицу Баварии. Много лет прошло с тех пор, как он упал с колокольни; пора было его перелить, и вот, из него решили отлить часть памятника великому сыну немецкого народа и страны. Послушай же, что вышло! Какие чудесные совпадения бывают на белом свете! В Дании, на одном из зелёных островов, где шумят буковые леса, где такое множество курганов, жил-был бедный, бедный мальчик; он ходил в деревянных башмаках и носил в стареньком платочке обед своему отцу, резчику, работавшему на верфи. Этот бедный мальчик сделался гордостью своей родины, — он высекал из мрамора чудные статуи, дивившие весь мир. Ему-то именно и выпало на долю вылепить из глины прекрасный, величавый образ, который потом отлили из металла, изображение того, чьё имя отец занёс в свою библию, Иоганна-Христофа-Фридриха.

И металл раскалённую струёю полился в форму. Из старого колокола — да, никто и не вспомнил о его происхождении и умолкнувшем звоне! — вышли голова и грудь статуи, которая теперь красуется в Штутгарте, перед старым замком, на той самой площади, по которой ходил при жизни тот, кого изображает статуя. Да, по ней ходил терпевший тяжёлый гнёт нужды и борьбу со светом мальчик из Марбаха, воспитанник военной школы, беглец, великий, бессмертный немецкий поэт, воспевавший освободителя Швейцарии и боговдохновенную французскую девственницу.

Стоял чудный солнечный день; на башнях и крышах домов в Штутгарте развевались флаги, все колокола торжественно и радостно звонили. Только один колокол безмолвствовал, блистая при свете солнца с лица и груди статуи. В этот день как раз минуло сто лет с того дня, как Марбахский колокол зазвонил на радость и утешение страждущей матери, рождавшей ребёнка. Ребёнок родился в бедном доме, в бедной обстановке, но стал впоследствии великим обладателем сокровищ, которые благословляет весь мир. Кто же он?

Поэт, воспевавший благородные женские сердца, певец всего великого и прекрасного, Иоганн-Христоф-Фридрих Шиллер.



 Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Улитка и розовый куст

Вокруг сада шла живая изгородь из орешника; за нею начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвёл розовый куст; под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием – она содержала самое себя.

– Постойте, придёт и моё время! – сказала она – Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы!

– Я многого ожидаю от вас! – сказал розовый куст. – Позвольте же узнать, когда это будет?

– Время терпит! Это вот вы всё спешите! А спех ослабляет впечатление!

На другой год улитка лежала чуть ли не на том же месте, на солнышке, под розовым кустом, снова покрытым бутонами; бутоны распускались, розы цвели, отцветали, а куст выпускал всё новые и новые.

Улитка наполовину выползла из раковины, вытянула рожки и опять подобрала их.

– Всё то же да то же! Ни шагу вперёд! Розовый куст остаётся при своих розах; ни на волос не подвинулся вперёд!

Лето прошло, настала осень, розовый куст цвёл и благоухал, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно, розовый куст пригнулся к земле, улитка уползла в землю.

Опять настала весна, снова зацвели розы, и выползла улитка.

– Теперь вы уж стары! – сказала она розовому кусту. – Пора бы

вам и честь знать! Вы дали миру всё, что могли дать; многое ли – это вопрос, которым мне некогда заниматься. А что вы ровно ничего не сделали для своего внутреннего развития – это ясно! Иначе из вас вышло бы кое-что другое. Что вы скажете в своё оправдание? Вы скоро, ведь, обратитесь в палку! Понимаете вы, что я говорю?

– Вы меня пугаете! – сказал розовый куст. – Я никогда об этом не думал!

– Да, да, вы, кажется, мало затрудняли себя думаньем! А вы пробовали когда-нибудь заняться этим вопросом, дать себе отчет – почему собственно вы цветёте и как это происходит, почему так, а не иначе?

– Нет! – сказал розовый куст. – Я радовался жизни и цвёл, – я не мог иначе! Солнце так грело, воздух так освежал меня, я пил живую росу и обильный дождь, я дышал, я жил! Силы подымались в меня из земли, вливались из воздуха, я жил полной жизнью, счастье охватывало меня, и я цвёл, – в этом была моя жизнь, моё счастье, я не мог иначе!

– Да, вы таки жили – не тужили, нечего сказать!

– Да! Мне было дано так много! – сказал розовый куст. – Но вам дано ещё больше! Вы одна из глубокомыслящих, высокоодарённых натур!.. Вы должны удивить мир!

– Была охота! – сказала улитка. – Я знать не знаю вашего мира! Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя!

– Да, но мне кажется, что все мы обязаны делиться с миром лучшим, что есть в нас!.. Я мог дать миру только розы!.. Но вы? Вам дано так много! А что вы дали миру? Что вы дадите ему?

– Что я дала? Что дам?! Плюю я на него! Никуда он не годится! И дела мне нет до него! Снабжайте его розами – вас только на это и хватит! Пусть себе орешник даёт ему орехи, коровы и овцы – молоко, – у них своя публика! Моя же – во мне самой! Я замкнусь в себе самой и – баста! Мне нет дела до мира!

И улитка заползла в свою раковину и залепилась там.

– Как это грустно! – сказал розовый куст. – А я так вот и хотел бы, да не могу замкнуться в самом себе; у меня всё просится наружу, я должен цвести! Розы мои опадают и разносятся по ветру, но я видел, как одну из них положила в

молитвенник мать семейства, другую приютила у себя на груди прелестная молодая девушка, третью целовали улыбающиеся губки ребёнка!.. И я был так счастлив! Вот мои воспоминания; в них – моя жизнь!

И розовый куст цвёл и благоухал, полный невинной радости и счастья, а улитка тупо дремала в своей раковине, – ей не было дела до мира.

Года шли за годами.

Улитка стала землёй в земле, розовый куст стал землёй в земле, роза воспоминания истлела в молитвеннике... Но в саду цвели новые розовые кусты, под ними ползали новые улитки; они заползали в свои домики и плевались, – им не было дела до мира!

Не рассказать ли эту историю сначала? – Она не меняется!

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Психея

На заре, в румянном утреннем небе горит крупная, яркая звезда. Луч её дрожит на белой стене, словно хочет начертить на ней рассказы о всём, виденном ею там и сям на нашей вращающейся земле.

Послушай же один из её рассказов!

– Недавно (недавнее для звезды для нас людей означает событие, совершившееся несколько столетий тому назад), лучи мои следили за одним молодым художником; жил он в папской столице, во всемирном городе Риме. Много изменилось там с течением времени, хотя такие перемены и совершаются далеко не так быстро, как человек становится из ребёнка стариком.

Императорский дворец и тогда уже был в развалинах; между поверженными во прах мраморными колоннами и над расписанными золотом стенами полуразрушенных терм возвышались фиговые и лавровые деревья. Колизей тоже представлял одни руины. Но церковные колокола звонили; ладан курился; по улицам проходили процессии со свечами и сияющими балдахинами. Рим был городом церковной пышности; но здесь также процветало и высоко почиталось искусство. В Риме жили величайший художник мира Рафаэль и величайший ваятель средних веков Микель Анджело. Сам папа отдавал честь обоим, удостаивал их своими посещениями. Искусство признавали, чтит и награждали. Но, конечно, не всё достойное замечалось и удостаивалось награды.

В маленькой, узенькой улице стоял старый дом, бывший некогда храмом. В доме этом жил молодой ваятель, бедный, безызвестный. Но у него, конечно, были друзья, тоже молодые художники, юные душой, богатые надеждами и мыслями. Они говорили ему, что у него большой талант, и что он просто глуп, если сам этому никак поверить не может. А он и в самом деле постоянно разбивал вдребезги созданное им накануне, никогда не бывал доволен своею работою и не доводил её до конца, а это необходимо: иначе кто же её увидит, признает и заплатит за неё деньги?

– Ты мечтатель! – говорили ему друзья. – И в этом твоё несчастье! Происходит же всё это оттого, что ты ещё не жил, как надо, не вкусил жизни, не пил жадными глотками жизненного нектара. А, ведь, в молодости-то именно и надо слиться с жизнью воедино! Вот тебе пример – величайший художник мира Рафаэль; его чтит сам папа, ему дивится весь свет, а он и ест и пьёт, как все, ни от чего не отказывается!

– Даже от самой булочницы, прекрасной Форнарины! – сказал Анджело, один из первых весельчаков молодой компании.

И многое ещё чего наговорили они! Они говорили, что подсказывали им их молодость, разум и желание увлечь молодого художника в круговорот веселья, шалостей – пожалуй, даже сумасбродств. Временами и он сам был не прочь от этого: кровь в нём была горячая, душа пылкая, и он мог участвовать в весёлых беседах, смеяться от души, не хуже других! И всё-таки

так называемая «весёлая жизнь Рафаэля» казалась ему каким-то чадом, туманом в сравнении с божественным блеском, которым сияли картины великого мастера. А как волновалась его грудь, когда он стоял в Ватикане перед образами нетленной красоты, изваянными из мрамора художниками древних времён! Какой ощущал он тогда подъём духа, какую силу, какой священный огонь жёл его сердце! В нём загоралось желание создать из мрамора подобные же образы. Он хотел воплотить в мраморе то чувство, которое стремилось из глубины его души вознестись к Вечному и Бесконечному. Но как воссоздать его, в каком образе? Мягкая глина послушно принимала под его пальцами прекрасные формы, но на другой день он, как и всегда, уничтожал созданное им накануне.

Однажды он проходил мимо одного из многочисленных роскошных римских палаццо, остановился перед большими открытыми воротами и увидел внутри двора, за расписанными аркадами, садик, полный душистых роз. Сочные, зелёные листья змеиной травы купались в мраморном бассейне, наполненном прозрачною водой. Тут же перед ним промелькнуло видение – молодая девушка, дочь хозяина дома. Как она была нежна, воздушна, прелестна! Никогда в жизни не видывал он такой женщины! Ах, нет, видел в одном из римских палаццо на картине Рафаэля, в образе Психеи. Там она была написана красками, здесь явилась ему живая.

Она ярко запечатлелась в его сердце и мыслях; вернувшись в свою бедную мастерскую, он принялся лепить из глины Психею – знатную молодую римлянку, и впервые остался доволен своею работою. Она имела в его глазах значение, – это было, ведь, её изображение!

Друзья, увидав статую, громко возликовали: в этой работе художественный талант его выразился необычайно ярко; до сих пор его признавали только одни они, теперь его признает весь свет!

Глина прекрасно передаёт жизненность тела, но не обладает белизной и прочностью мрамора; Психея должна была ожить в мраморе, и у художника даже имелся этот драгоценный материал: во дворе с давних лет лежала мраморная глыба, принадлежавшая ещё его родителям. На ней валялся разный мусор, осколки

стекла, обрезки овощей; всё это грязнило, пачкало её снаружи, но внутри мрамор сиял снежною белизною; из него-то и должна была восстать Психея.

В один прекрасный день – звезда об этом ничего не рассказывает, – она не видала этого, но мы-то знаем, что оно было так – узенькую, бедную улицу посетило знатное общество; посетители оставили карету неподалёку от дома и пешком прошли к жилищу художника. Явились они посмотреть на его работу, о которой случайно услышали. Кто же такие они были? Бедный юноша! Или лучше: слишком счастливый юноша! В его студии стояла она, сама молодая красавица! И как улыбнулась она, когда отец её сказал: «Да, ведь, это ты, живая!» Эту улыбку нельзя было передать, этого взора удивления нельзя было изобразить! Он поднимал, облагораживал и – повергал во прах! – Психею нужно изваять из мрамора! – сказал знатный посетитель. И слова эти вызвали к жизни мёртвую глину и тяжёлую мраморную глыбу, равно как и самого взволнованного художника. – Когда работа будет окончена, я покупаю её! – прибавил знатный римлянин.

Словно новая эра настала в бедной мастерской; в ней закипели жизнь, веселье, работа. Сияющая утренняя звезда созерцала, как работа подвигалась вперёд. Самая глина, казалось, ожила, с тех пор, как побывала здесь она, и послушно принимала под рукою художника желаемые формы, передавала знакомые черты. Скоро они засияли высшею, совершеннейшею красотою.

– Теперь я знаю, что такое «жить»! – ликовал художник. – Это значит – любить, увлекаться возвышенным, восхищаться прекрасным! То же, что называют жизнью мои товарищи – обман, пузыри, вскакивающие на бродящей гуще, а не чистый, небесный напиток, приобщающий человека к истинной жизни!

Мраморная глыба была поднята на подставку, и от неё начали откалывать кусок за куском. Художник мерил, ставил чёрточки и точки, и мало-помалу грубая работа была выполнена, камень стал принимать формы живого тела, очертания божественно-прекрасного образа молодой девушки. Тяжёлый камень превратился в воздушную, порхающую, прелестную Психею, улыбающуюся небесною улыбкою, навеки запечатлевшеюся в сердце молодого ваятеля.

Звезда, сиявшая на румянном утреннем небе, видела всё это и, право, поняла, что творилось в душе молодого человека, поняла и краску, вспыхивавшую на его щеках, и блеск его глаз в то время, как он воплощал в мраморе создание Божие.

– Ты мастер, какие жили во времена древних греков! – говорили ему восхищённые друзья. – Скоро весь свет будет дивиться твоей Психее!

– Моей Психее! – повторил он. – Моей! Да, она и должна быть моею! И я такой же художник, как мои великие предшественники. Милосердый Господь даровал мне талант, превознёс меня, как своего избранника! Я не ниже кровных аристократов!

И он упал на колени, и со слезами благодарил Бога, потом опять забывал Его ради неё, ради её мраморного изображения, ради Психеи, словно вылепленной из снега и разрумяненной утренним солнцем.

Но ему предстояло увидеть её живую, прекрасную, воздушную, предстояло опять услышать её музыкальный голос! Он должен был явиться в роскошное палаццо с известием о том, что мраморная Психея исполнена. Он и явился туда; прошёл по двору, мимо мраморного бассейна, куда бежала вода из пасти дельфинов, и где в изобилии росли змеиная трава и свежие, пышные розы, а затем вступил в обширную, высокую переднюю. Стены и потолок её были расписаны картинами и гербами; разодетые слуги, гордые, увешанные погремушками, как лошади во время карнавала, ходили вниз и вверх по лестницам; некоторые лениво развалились на резных скамьях; сдавалось, что господа в доме – они! Молодой человек сказал, зачем пришёл, и его повели по гладкой мраморной лестнице, усталой мягкими коврами; по обеим сторонам её стояли статуи; затем молодой человек прошёл через анфиладу роскошных, изукрашенных картинами покоев, с блестящими мозаичными полами. При виде всей этой роскоши, ему стало как-то не по себе, у него захватило дух, но скоро он преодолел это чувство, и ему опять стало легко. Старый, знатный господин принял его очень ласково, почти дружески и, поговорив с ним, предложил ему пройти к молодой синьоре, – она тоже желала видеть художника. Слуги опять повели его по роскошным покоем и залам, и вот, он очутился в комнате

синьоры, лучшим украшением которой была она сама.

Она заговорила с ним; никакое *Miserere*^[1], никакой церковный гимн не могли бы так потрясти сердце, так взволновать душу! Он схватил её руку и прижал к своим губам; рука была мягче, нежнее лепестка розы, но от этого лепестка исходил огонь! Он прожог молодого человека насквозь, поднял его высоко, высоко!.. И из уст его полились слова, в которых он и сам не отдавал себе отчёта. Разве знает кратер, что выбрасывает раскалённую лаву? Он высказал ей свою любовь. Она стояла поражённая, негодующая, гордая, с таким выражением гадливого презрения на лице, как будто внезапно дотронулась до мокрой лягушки. Щеки её горели огнём; губы совсем побелели; чёрные, как ночь, глаза метали молнии.

– Безумец! – сказала она. – Прочь! Прочь! – и повернулась к нему спиной. Прекрасное лицо приняло выражение знаменитой окаменелой головы, с змеями вместо волос.

Упавший духом, осунувшийся, беспомощный побрёл он по улицам, как лунатик. Очнулся он только у себя дома, и тут, в приливе бешенства и отчаяния, схватил молоток, замахнулся и хотел раздробить прекрасную мраморную статую. Он и не заметил, что друг его Анджело стоял позади него. Анджело с силою схватил его за руку.

– С ума ты сошёл?! Что с тобой?

Началась борьба; Анджело был сильнее, и молодой ваятель, тяжело дыша, бросился на стул.

– Что случилось? – продолжал Анджело. – Приди в себя! Говори! Но что он мог сказать? Что мог рассказать? Анджело не добился от него ничего и махнул рукой.

– У тебя просто кровь сгустилась от твоих вечных мечтаний! Будь же человеком, как мы все, не живи одними идеалами, – не выдержишь! Хлебни вина, увидишь, как чудесно заснёшь! Возьми доктором красивую девушку. Девушки Кампаньи прелестны, не хуже принцесс из мраморных палаццо: и те, и другие, ведь, дочери Евы, и в раю их не различишь! Пойдём со мною! Я буду твоим ангелом-хранителем! А придёт время – состаришься, тело одряхлеет, и в один прекрасный день, когда всё кругом будет

веселиться на солнце и ликовать, ты будешь валяться, как высохшая былинка, которой больше уж не расти! Я не верю тому, что говорят патеры – будто за могилу нас ждёт другая жизнь; это прекрасная мечта, детская сказка, довольно утешительная, если верить в неё. Но я не предаюсь мечтам, а живу действительностью. Пойдём со мною! Будь человеком!

И он увлёл его с собою; ему удалось это в данную минуту: в крови молодого ваятеля горел огонь, в душе произошёл переворот, пробудилось непреодолимое желание порвать со всем старым, привычным, отрешиться от своего прежнего «я». Вот почему он и последовал за Анджело.

На одной из окраин Рима находился излюбленный трактирчик художников; устроен он был в уцелевшей части древних терм; старые жёлто-красные стены скрывались за тёмною, блестящею зеленью лимонных деревьев, сквозь которую сверкали золотистые крупные плоды. Трактир помещался под глубоким сводом, так что напоминал пещеру. Внутри, перед образом Богоматери горела лампада; в очаге пылал огонь; тут жарили, варили и пекли; в саду под тенью лимонных и лавровых деревьев стояло несколько накрытых столиков.

Друзья встретили вновь пришедших с распростёртыми объятиями, и закипело веселье. Закусили немножко, порядочно выпили – это веселит и подбадривает – и принялись петь и играть на гитарах.

Зазвучала сальтарелла^[21], и начались танцы. Две молодых римлянки, натурщицы художников, закружились в пляске. Две прелестные вакханки! Да, они не были похожи на Психею, не были нежными, прекрасными розами, но свежими, сочными, пышными гвоздиками.

Какая жара стояла в этот день! Она продолжалась даже после заката солнца! Огонь в крови, огонь в воздухе, огонь во взглядах! Воздух отливал золотом и розами, казалось, и вся жизнь полна золота и роз!

– Ну, наконец-то, и ты с нами! Отдайся же течению жизни!

– Никогда ещё не чувствовал я себя таким здоровым и весёлым! – сказал молодой художник. – Ты прав, вы все правы, я был глупцом, мечтателем! Человек принадлежит действительной жизни,

а не фантазии!

С пением под аккомпанемент гитар, вышли молодые люди из трактира и направились по переулкам города; вечер был ясный, звёздный. Обе роскошные гвоздики, дочери Кампаньи, сопровождали их.

В комнатке Анджело, заваленной разбросанными повсюду эскизами, листками и картинами, изображавшими сцены, полные красоты и страсти, голоса звучали глуше, но так же весело и страстно. По полу валялись рисунки, изображавшие дочерей Кампаньи во всевозможных видах; рисунки дышали жизнью и красотой, но сами девушки были ещё куда красивее. Канделябр о шести свечах пылал всеми огнями, и при их свете красота девушек выступала ещё ярче; из телесного образа просвечивал образ божества.

«Аполлон! Юпитер! Я возношусь в вам, на небо! В моём сердце как будто распускается цветок жизни!»

Да, он распустился... поблэк и опал, распространяя одуряющие испарения. Лицо побледнело, мысли спутались... Фейерверк страстей погас, и наступила тьма.

Он добрался до своего дома, бросился на постель и тогда только немного собрался с мыслями. «Тьфу!» вырвалось из его уст, из глубины его сердца. «Несчастный! Прочь! Прочь!» И он горько, глубоко вздохнул.

«Прочь! Прочь!» эти слова живой Психеи не переставали раздаваться в его сердце, срывать с его уст. Он уронил голову на подушку, мысли его спутались, и он заснул.

На заре он проснулся и стал припоминать вчерашнее. Что такое случилось накануне? Не во сне ли всё это было? И её жестокие слова, и пирушка в трактире, и вечер, проведённый в обществе пунцовых гвоздик Кампаньи?.. Нет, всё это было наяву, было действительностью, новой для него действительностью!

На алеющем небе светилась яркая звезда; лучи её упали на ваятеля и на мраморную Психею. И он задрожал, взглянув на этот нетленный образ: ему казалось, что его нечистый взгляд не смел больше смотреть на неё. Он торопливо набросил на статую покров; потом опять было хотел снять его и раскрыть Психею, но нет! Он был не в силах больше смотреть на своё создание!

Тихий, угрюмый, весь уйдя в самого себя, просидел он весь этот

длинный день, не зная, не сознавая, что творилось вокруг, и никто не знал, что творилось в нём самом.

Дни шли за днями, недели за неделями; особенно долго тянулись ночи. Однажды утром яркая звезда увидела, как он, смертельно бледный, дрожащий, словно в лихорадке, вскочил с постели, подбежал к мраморной статуе, сдёрнул с неё покров, посмотрел на своё творение долгим, скорбным взглядом и затем, почти изнемогая под её тяжестью, стащил её в сад. Там был глубокий, высохший колодезь^[3], скорее яма; в неё-то он и опустил свою Психею, забросал её землю, а свежую могилу прикрыл хворостом и крапивою.

«Прочь! Прочь!» Коротка была надгробная речь.

Звезда видела всё это с румяного небосклона, и лучи её задрожали в двух крупных слезах, скатившихся по бледным щекам молодого человека, заболевшего лихорадкой – заболевшего смертельно, – говорили о нём, когда он лежал в постели.

Монах, брат Игнатий, явился для него другом и врачом. Он явился к одру больного со словами религиозного утешения, заговорил о мире, о счастье, даруемых церковью, о греховности человеческой, о милосердии Бога и спасении через Него.

Слова его были солнечными лучами, падавшими на мокрую, вспаханную почву, и из неё стали подыматься испарения, превращавшиеся в облака – в мысленные образы, бывшие в то же время и действительными. С этих-то воздушных, скользящих в пространстве островов молодой человек и стал смотреть вниз на жизнь человеческую; вся она была обман, разочарование, по крайней мере для него! Самое искусство было волшебницею, вовлекающею нас в грех суетного земного тщеславия! Мы лжём и самим себе, и друзьям, и Богу. Змея, скрывающаяся в нас, твердит нам: «Вкуси и станешь подобным Богу!»

Теперь только – казалось ему – он понял самого себя, уразумел путь истины и мира. В церкви был свет Божий и ясный мир, в монашеской келье – покой; там только древо человеческой жизни могло возрасти для вечности!

Брат Игнатий укрепил в нём эти мысли, и он решился: дитя света стало слугою церкви, молодой ваятель отрёкся от мира, ушёл в

монастырь.

Как сердечно, любовно приветствовала его братия! Как торжественно было посвящение! Сам Господь, казалось ему, присутствовал в церкви, в озарявших её солнечных лучах, в сиянии, окружавшем лики святых и кресты. И, стоя вечером, на закате солнца, у открытого окна в своей маленькой келье, он окинул взором старый Рим, разрушенные храмы, величественный, но мёртвый Колизей, узрел всё это в весеннем уборе цветущих акаций, свежей зелени плюща, пышных роз, золотистых апельсинов и роскошных веерных пальм, и ощутил в своей груди такую полноту блаженства, какой никогда ещё не знал прежде! Открытая тихая долина Кампаньи убегала к блестящим, покрытым снегом горам, точно нарисованным на небе. Всё сливалось, дышало миром и красотой, всё как будто грезило, расплывалось в мечтах, весь мир был мечтою!

Да, мир был мечтою, а мечта может покорить человека на час, много на два, затем опять вернуться на некоторое время, жизнь же в монастыре должна была длиться годы, многие, долгие годы!

И ему пришлось сознаться, что изнутри человека выходит многое, оскверняющее его! Что это за огонь жёг его временами? Что это был в нём за источник зла, которое вырывалось наружу, несмотря на его сопротивление? И он бичевал свою плоть, но источник зла не иссякал. Что такое заставляло его ум обвиваться змеёю вокруг его совести и заползать вместе с нею под плащ Божественной любви? Чей это голос шептал ему: «Святые, ведь, молятся за нас, Божья Мать тоже, а сам Иисус Христос отдал за нас свою плоть и кровь!» В силу ли ребячества или легкомыслия он отдавался под покровительство Высшей Милости и чувствовал себя превознесённым над прочими людьми? Как же! Он, ведь, оттолкнул от себя мирскую суету, стал сыном церкви!

Однажды, спустя много лет, он встретился с Анджело; тот узнал его.

– Ну вот! – сказал Анджело. – Так это ты! Что ж, счастлив ты теперь? Ты согрешил против Бога, отбросил Его дар, загубил свой талант! Прочти притчу о доверенных талантах! Учитель, рассказавший её, принёс в мир истину! Ну чего же ты добился, чего достиг? Не создал ли ты себе жизнь праздного мечтателя?

Не создал ли себе собственную религию, как и все монахи? А что, если всё это лишь мечта, фантазия, прекрасные вымыслы?
– Отойди от меня, сатана! – сказал монах и отошёл прочь от Анджемо.

– Это сам дьявол! Я видел его сегодня воочию! – шептал монах.
– Я протянул ему однажды палец, а он схватил всю мою руку!.. Нет! – вздыхал он потом: – Зло во мне самом! В этом человеке тоже есть зло, но он не падает под его бременем, носит голову высоко, счастлив! А я ищу счастья в утешениях религии... А что, если это и впрямь только утешение?.. Что, если и это, как всё то, от чего я отказался в мире, лишь красивый вымысел, обман, как красота розовых вечерних облаков, как голубая волнующаяся даль за горами?! Ведь, вблизи всё оказывается иным! О, вечность! Ты, как великий, безграничный, безмятежный океан, манишь, зовёшь к себе, наполняешь нашу душу предчувствиями, а дойдёшь до тебя и, может быть, погрузишься в бездну, исчезнешь, умрёшь... перестанешь существовать! Обман! Прочь! Прочь!

Без слёз, углубившись в самого себя, стоял он на своём жёстком ложе, преклонив колени – перед кем? Перед каменным распятием, вделанным в стену? Одна привычка заставила его преклонить колени!

Чем глубже заглядывал он в свою душу, тем она казалась ему темнее; пустота внутри, пустота вне! «Даром загубил свою жизнь!» И мысли катились и росли, словно ком снега, росли, давили, стирали его с лица земли.

«И никому не смею я открыть этого червяка, гложущего мою душу! Моя тайна – мой пленник; выпущу я его – я стану его пленником!»

И частица божественного духа в нём продолжала страдать и бороться.

– Господи, Господи! – молился он в отчаянии. – Сжался надо мною, пошли мне веру!.. Я зарыл в землю Твой дар – свой талант! У меня не хватило сил, Ты не дал их мне! Бессмертная Психея в моей груди... Прочь, Прочь!.. И её предадут земле, как ту, лучший проблеск моей жизни!.. Никогда не восстанет она из своей могилы!

Звезда сияла на румянном небе. И она когда-нибудь потухнет, исчезнет, а души всё будут вечно жить и сиять! Дрожащий луч её упал на белую стену, но не начертил на ней ничего о величии Бога, о Его милости и любви, отголоски которых звучат в душе каждого верующего.

– Нет, Психея тут, во мне, никогда не умрёт!.. Жить сознательно?.. Может ли сбыться непостижимое?.. Да, да! Непостижимо – мое я! Непостижим и Ты, Господи! Весь Твой мир непостижим! Он чудо Твоей силы, великолепия и... любви!..

Глаза его засияли и потухли навеки. Звуки колокола проводили его в могилу. Он был зарыт в землю, привезённую из Иерусалима и смешанную с прахом благочестивых умерших.

По истечении нескольких лет, остов вынули, как и остовы всех умерших до него монахов, закутали его в тёмную рясу, надели на руку чётки и поставили его в нишу, сложенную из человеческих костей, найденных на монастырском кладбище. Туда светило солнце, доносился благоуханный дым ладана, звуки молитв.

Прошло много лет.

Кости скелетов рассыпались; черепа собрали и сложили в ряды, так что они образовали целую ограду вокруг церкви. В числе прочих лежал тут под жгучими лучами солнца и череп ваятеля; много, много было их тут, но никто не знал, кому они принадлежали, не знали и его имени. И вот, однажды при свете солнца в глазных впадинах черепа мелькнуло что-то живое. Что это было? В пустой череп пробралась пёстрая ящерица и шмыгала взад и вперёд через открытые глазные впадины. Итак, в голове опять была жизнь, в той самой голове, где некогда бродили великие мысли, сияли мечты, любовь в искусству, ко всему прекрасному, откуда катились жгучие слёзы, где жила надежда на бессмертие! Ящерица выпрыгнула и пропала; череп истлел; стал прахом во прахе.

Прошли столетия. Яркая звезда светила по-прежнему, всё такая же светлая, крупная, какую была тысячелетия; небо отливало пурпуром, нежным, как пурпур роз, алым, как кровь.

Там, где некогда проходила узенькая улица, на которой находились развалины храма, была теперь площадь, а на ней возвышался женский монастырь. В саду рыли могилу; умерла

молодая монахиня, и в это утро её хотели похоронить. Вдруг заступ наткнулся на камень, сверкавший ослепительной белизною. Показался белый мрамор; он округлился в плечо, потом обнажилась и вся рука. Стали действовать заступом осторожнее, и из земли показалась женская голова, потом крылья бабочки... Из могилы, куда хотели зарыть тело молодой монахини, извлекли при свете розовой утренней зари чудную статую Психеи, изваянную из белого мрамора. «Как она прелестна! Какое совершенство! Памятник искусства лучших времён!» говорили люди. «Кто создал её?» Никто не знал этого, никто, кроме сияющей тысячелетия утренней звезды. Она одна знала земную жизнь творца Психеи, его испытания, его веру в человеческое достоинство и слабость. Бренная оболочка его перестала жить, распалась в прах, как и должно, но результат его стремлений, воплощение таившейся в нём искры Божией – Психея осталась!.. И она никогда не умрёт, она переживёт самую память о своём творце, будет служить здесь на земле проблеском его бессмертной души! И вот, её нашли, оценили и полюбили! Ясная утренняя звезда, горевшая на румянном небе, обливала своим дрожащим светом Психею и освещала блаженно улыбающиеся уста и глаза зрителей, созерцавших в немом восторге душу, изваянную из мрамора. Всё земное истлевет, рассыпается в прах, забывается; помнит о нём лишь звезда, свидетельница бесконечных времён; всё же небесное само сияет и живёт в памяти. Но и эта память может угаснуть, тогда как Психея живёт вечно!

^[1]Miserere – 50-й псалом из Псалтири.

^[2]Сальтарелло – итальянский парный народный танец.

^[3]Колодезь – колодец.



 Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Дева льдов



I. РУДИ

Заглянем-ка в Швейцарию, в эту дивную горную страну, где по отвесным, как стены, скалам растут тёмные сосновые леса. Взберёмся на ослепительные снежные склоны, опять спустимся в зелёные равнины, по которым торопливо пробегают шумные речки и ручьи, словно боясь опоздать слиться с морем и исчезнуть. Солнце палит и внизу, в глубокой долине, и в вышине, где нагромождены тяжёлые снежные массы; с годами они подтаивают и сплавляются в блестящие ледяные скалы, или катящиеся лавины и громоздкие глетчеры. Два таких глетчера возвышаются в широком ущелье под «Шрекгорном» и «Веттергорном», близ горного городка Гриндельвальда. На них стоит посмотреть; поэтому в летнее время сюда наезжает масса иностранцев со всех концов света. Они переходят высокие покрытые снегом горы, или являются снизу из глубоких долин, и тогда им приходится взбираться ввысь в продолжении нескольких часов. По мере того, как они восходят, долина опускается всё глубже и глубже, и они смотрят на неё сверху, точно из корзины воздушного шара. В вышине над ними, на горных выступах виснут тяжёлыми, плотными, дымчатыми

занавесями облака, а внизу в долине, где разбросаны бесчисленные тёмные деревянные домики, ещё светит солнце, и залитый его лучами зелёный клочок земли выделяется так ярко, что кажется почти прозрачным. Внизу воды шумят, бурлят и ревут, в вышине же мелодично журчат и булькают; ручейки вьются здесь над скалами точно серебряные ленты.

По обеим сторонам дороги, ведущей вверх, расположены бревенчатые дома; при каждом – картофельный огородик; тут это необходимо: в каждом домике масса ртов, целая куча ребят, а они-то есть мастера. И ребятишки ежедневно высыплют на дорогу и обступают туристов, и пеших, и приехавших в экипажах. Вся эта толпа малышей торгует изящно вырезанными из дерева домиками, моделями настоящих здешних домов, и другими безделушками. Малыши не смотрят на погоду, – и в дождь, и в солнце они одинаково на своих местах.

Лет двадцать тому с небольшим, стаивал тут иногда, но всегда в сторонке от других детей, один маленький мальчуган. Он тоже выходил торговать, но стоял всегда с таким серьёзным личиком и так крепко сжимал в руках корзинку с товарами, как будто ни за что не желал расставаться с ними. Именно эта серьёзность крохотного мальчугана и привлекала на него общее внимание. Его подзывали, и он почти всегда торговал счастливее всех своих товарищей, сам не зная почему. Повыше, на горе, жил его дедушка, который и вырезывал все эти изящные, прелестные домики. В хижине у них стоял старый шкаф, битком набитый разными резными вещицами; там были и орешные щелкуны, и ножи, и вилки, и ящики, украшенные затейливою резьбой: завитушками, гирляндами и скачущими сернами. У любого ребёнка разбежались бы глаза, но Руди – так звали мальчика – больше заглядывался на старое ружьё, подвешенное к потолку. Дедушка сказал мальчику, что ружьё будет со временем его, но не раньше, чем он подрастёт и окрепнет настолько, что сумеет справиться с такой вещью.

Как ни мал был Руди, ему уже приходилось пасти коз, и, если уметь лазать, как козы, значит быть хорошим пастухом, то Руди был отличным. Он лазал даже повыше коз, взлезал за птичьими гнёздами на самые высокие деревья. Большой смельчак был Руди,

но улыбку на его лице видали лишь в те минуты, когда он прислушивался к шуму водопада или грохоту лавины. Никогда не играл он с другими детьми и сходилась с ними лишь когда дедушка высылал его продавать разные безделушки, что Руди не особенно-то было по вкусу. Он больше любил карабкаться один по горам, или сидеть подле деда и слушать его рассказы о старине и о народе, живущем вблизи, в Мейринге, откуда он сам был родом. Народ этот не жил тут с сотворения мира – рассказывал дедушка – но пришёл сюда с севера, оставив там своих родичей, шведов. Такие сведения обогащали ум Руди, но он получал сведения и иным путём – от домашних животных. У них была большая собака, по имени Айола, принадлежавшая ещё покойному отцу Руди, и кот. Последний-то и играл в жизни Руди особенно важную роль – он выучил мальчика лазать.

«Пойдём со мной на крышу!» – говаривал кот самым ясным, понятным языком. Дитя, ещё не умеющее говорить, отлично, ведь, понимает и кур, и уток, и кошек, и собак; они говорят так же понятно, как и папаша с мамашей, но чтобы понимать их, надо быть очень, очень маленьким! Тогда и дедушкина палка может заржать, стать лошадью, настоящею лошадью с головой, ногами и хвостом! Иные дети утрачивают такую понятливость позже, чем другие, и слывут поэтому неразвитыми, отставшими; о них говорят, что они чересчур долго остаются детьми. Мало ли ведь, что говорят!

«Пойдём со мной на крышу, Руди!» – вот первое, что сказал кот, а Руди понял. «Говорят, что можно упасть, – вздор! Не упадёшь, если не будешь бояться! Иди! Одну лапку сюда, другую сюда! Упирайся передними лапками! Гляди в оба! И будь половчее! Встретится расщелина – перепрыгни, да держись крепко, как я!» Руди так и делал; оттого он часто и сиживал рядом с котом на крыше, но сиживал и на верхушках деревьев и высоко на уступе скалы, куда даже кот не забирался.

«Выше! Выше!» твердили деревья и кусты. «Видишь, как мы лезем вверх, как крепко держимся, даже на самом крайнем, остром выступе!»

И Руди часто взбирался на гору ещё до восхода солнца и пил там своё утреннее питьё – свежий, крепительный горный воздух,

питьё, которое может изготавливать лишь сам Господь Бог, а люди только могут прочесть его рецепт: «свежий аромат горных трав да запах мяты и тмина, растущих в долинах». Все тяжёлые частицы воздуха впиваются облаками, которые ветер расчёсывает потом гребнем сосновых лесов, и вот, воздух становится всё легче, всё свежее! Так вот какое питьё пил Руди по утрам.

Солнечные лучи, благодатные дети солнца, целовали Руди в щёчки, а Головокружение стояло на стороже, но не смело приблизиться. Ласточки же, жившие под крышей дедушкиного дома – там лепилось, по крайней мере, семь гнёзд – вились над Руди и его стадом и щебетали: «Вы и мы! Мы и вы!» Они приносили Руди поклоны из дому, между прочим даже от двух кур, единственных птиц в доме, с которыми Руди, однако, не водился. Как ни мал он был, ему уже доводилось путешествовать на своём веку, и не близко для такого малыша. Родился он в кантоне Валлис, по ту сторону гор, и был перенесён сюда ещё годовалым ребёнком. А недавно он ходил пешком к водопаду «Штаубаху», который развеивается в воздухе серебряною вуалью перед лицом вечно снежной, ослепительно-белой Юнгфрау. Побывал Руди и на большом Гриндельвальдском глетчере, но с этим связана грустная история! Мать его нашла там себе могилу; там же, по словам деда, маленький Руди потерял свою детскую весёлость. Когда мальчику не было ещё года, он больше смеялся, чем плакал – писала о нём деду мать, – но с тех пор, как ребёнок полежал в ледяном ущелье, он словно переродился душевно. Дед не любил много говорить об этом происшествии, но все соседи знали о нём.

Отец Руди был почтальоном; большая собака Айола постоянно сопровождала его в переходах через Симплон к Женевскому озеру. В долине Роны, в Валлийском кантоне и теперь ещё жили родственники Руди по отцу. Дядя его был отважным охотником за сернами и известным проводником. Руди был всего год, когда отец его умер, и матери захотелось переселиться с ребёнком к своим родным в Бернский Оберланд. Недалеко от Гриндельвальда жил её отец, занимавшийся резьбой по дереву и с избытком зарабатывавший себе на прожиток. Пустилась она с ребёнком в путь в июне, вместе с двумя охотниками за сернами. Путники уже

прошли наибольшую часть дороги, перебрались через гребень горы на снежную равнину, и молодая женщина уже видела перед собою родную долину с разбросанными по ней знакомыми домиками; оставалось только одолеть ещё одну трудность – перейти большой глетчер. Недавно выпавший снег прикрыл расщелину, хоть и не проникавшую до самого дна пропасти, где шумела вода, но всё же довольно глубокую. Молодая женщина, нёсшая на руках ребёнка, поскользнулась, провалилась в снег и исчезла. Спутники не слышали даже крика, услышали только плач малютки. Прошло больше часа, пока им удалось принести из ближайшей хижины верёвки и шесты, с помощью которых с большими усилиями и извлекли из расщелины – два трупа, как им показалось сначала. Были пущены в ход все средства, и ребёнка удалось вернуть к жизни, но мать умерла. Старый дедушка принял в дом вместо дочери только внука, ребёнка, который прежде больше смеялся, чем плакал, а теперь, казалось, совсем разучился смеяться. Перемена эта произошла в нём верно оттого, что он побывал в расщелине глетчера, в холодном ледяном царстве, где – по поверью швейцарских крестьян – осуждены томиться души грешников до дня Страшного суда.

Словно быстрый водопад, застывший в воздухе неровными зеленоватыми стеклянными глыбами, блещет глетчер; одна ледяная скала громоздится на другую. А в глубине пропастей режут бурные потоки, образовавшиеся из растаявшего снега и льда. Глубокие ледяные пещеры и огромные ущелья образуют там диковинный хрустальный дворец – обиталище Девы Льдов, королевы глетчеров. Губительная, уничтожающая дева – наполовину дитя воздуха, наполовину могущественная повелительница вод. Она перелетает с одного острого ледяного уступа горных вершин на другой с быстротой серны, тогда как смелейшие горные проводники должны вырубать себе здесь во льду ступеньки. Она переплывает режущие потоки на тонкой сосновой веточке, перепрыгивает со скалы на скалу, причем её длинные, белые, как снег, волосы и зеленовато-голубое, блестящее, как воды альпийских озёр, платье развеваются по ветру.

– Раздавлю, уничтожу! Здесь моё царство! – говорит она. – У меня украли прелестного мальчика; я уже отметила его своим

поцелуем, но не успела зацеловать до смерти. Теперь он опять между людьми, пасёт коз на горах, карабкается вверх, всё вверх, хочет уйти от других, но от меня ему не уйти! Он мой, я доберусь до него!

И она просила Головокружение помочь ей, – самой ей становилось летом слишком душно среди горной растительности, где благоухает мята. Головокружения же носятся тут целой стаей, – их, ведь, много сестёр – Дева Льдов и выбрала из них самую сильную, властную и в домах и на вольном воздухе. Головокружения сидят по перилам лестниц и по перилам башен, бегают белками по краю скал, спрыгивают, плывут по воздуху, как пловцы по воде, и заманивают своих жертв в пропасть. И Головокружение и Дева Льдов хватают людей, как полипы хватают всё, что мимо них проплывает. Так вот Головокружению-то Дева Льдов и поручила поймать Руди.

– Да, поди-ка, поймай его! – сказало Головокружение. – Я не могу! Дрянной кот обучил его всем своим штукам! Ребёнка этого охраняет какая-то сила, что отталкивает меня. Я не могу схватить этого мальчишку, даже когда он висит, зацепившись за ветку, над пропастью, а уж как бы мне хотелось пощекотать его под подошвами, или спустить кувырком в воздух! Да нет, не могу!

– Вдвоём-то мы сможем! – говорила Дева Льдов. – Ты или я! Я, я!

– Нет! Нет! – зазвучало им в ответ, словно в горах раздалось эхо колокольного звона. Это пели хором другие духи природы, кроткие, любящие, добрые дети солнца. Они как венком окружают вечернею порой горные вершины, паря на своих распростёртых розовых крыльях, пламенеющих по мере того, как солнце садится, всё ярче и ярче. Люди называют это сияние гор «альпийским заревом». Когда же солнце сядет, они взлетают на самую вершину и ложатся на снег спать до восхода солнца. Они больше всего любят цветы, бабочек и людей. Из последних же они избрали и особенно полюбили Руди.

– Не поймать вам его! Не поймать! – говорили они.

– Ловила я людей и постарше и посильнее! – отвечала Дева Льдов.

Тогда дети солнца затягивали песнь о путнике, с которого вихрь сорвал плащ. Оболочку только унёс ветер, а не самого человека! Вы, дети грубой силы, можете схватить его, но не удержать! Он сильнее духов, даже сильнее нас! Он взбирается на горы выше солнца, нашей матери! Он знает «слово», которое связывает ветер и воды, так что они должны служить и повиноваться ему! Голоса их звенели в воздухе, словно колокольчики. И каждое утро светили солнечные лучи в единственное окошечко дедушкиного домика на тихого ребёнка. Дети солнца целовали его; они хотели оттаять, согреть его щёчки, стереть с них ледяные поцелуи владычицы глетчеров, которые она запечатлела на них в то время, как ребёнок лежал, в объятиях умершей матери, в глубокой ледяной расщелине, откуда спасся как бы чудом.

II. В НОВУЮ СЕМЬЮ

Руди исполнилось восемь лет. Дядя его по отцу, живший по ту сторону гор, в долине Роны, предложил взять мальчика к себе, – у него ребёнок мог лучше подготовиться зарабатывать себе средства к жизни. Дед понял это и согласился расстаться с внуком.

И Руди собрался в путь. Со многими приходилось ему прощаться, не считая дедушки; прежде всего со старушкой Айолою.

– Отец твой был почтальоном, а я почтовой собакой! – сказала она Руди. – Мы то и дело подымались в гору да спускались вниз; я знаю и собак и людей по ту сторону гор. Я не болтлива по природе, но теперь нам уж немного времени остаётся беседовать друг с другом, так я на этот раз дам волю языку. Расскажу я тебе историю, которая всё бродит у меня в голове. Я её никак не пойму, не поймёшь и ты, да и не надо! Вывела же я из неё вот что: не всем собакам и не всем людям живётся одинаково! Не всем суждено нежиться у господ на коленях, да лакать молоко! Я к этакому житью не привыкла, но видела раз такую собачку. Она ехала в почтовом дилижансе, занимала пассажирское место! Дама, госпожа её – или вернее та дама, чьею госпожою была сама собачонка – везла с собою бутылку молока и поила им собачку,

кормила её сладкими сухарями, а собачонка даже не изволила жрать, только нюхала, и госпожа съедала их сама. А я бежала по грязи рядом с почтовой каретой, голодная, как настоящая собака, и думала свою думу. «Не порядок!» думала я, да мало ли о чём приходится сказать то же, если приглядеться ко всему хорошенько! Дай тебе Бог нежиться на коленях, да ездить в карете, но зависит-то это не от нас самих! Мне вот, сколько я ни лаяла, не удалось этого добиться!

Вот что сказала Руди Айола, и мальчик обнял собаку за шею и поцеловал прямо в морду. Потом он взял на руки кота, но этот оцетинился.

– Теперь мы с тобой больше не товарищи, а царапать тебя я всё-таки не хочу! Карабкайся себе по горам, как я тебя учил! Только не бойся, что упадёшь, и – не упадёшь никогда! – И кот убежал, – ему не хотелось, чтобы Руди заметил, как он огорчён, а это так и светилось в его глазах.

Куры бегали по полу; одна была бесхвостая; какой-то путешественник, мнивший себя охотником, принял её за хищную птицу, да и отстрелил ей хвост.

– Руди-то собирается за горы! – сказала одна курица.

– У него вечно спешка! – сказала другая. – А я страсть не люблю прощаться! – И обе засемили дальше.

С козами он тоже простился, и они жалобно заблеяли: «И мы-ы! И мы-ы!» – Очень это грустно было!

Случилось как раз, что двум известным проводникам из окрестности понадобилось побывать по ту сторону гор; с ними-то и отправился Руди пешком. Это был большой переход для такого малыша, но силы у него были, смелости тоже не занимать было стать!

Ласточки проводили их недалеко, распевая: «Вы и мы! Мы и вы!»

Дорога шла над быстрою Лючиною, которая разбивается здесь на множество мелких потоков и быстро несётся вниз из чёрного ущелья Гриндельвальдского глетчера. Вместо мостов служат тут перекинутые с одного берега на другой деревья и каменные глыбы. Вот путники достигли Эллернвальда и стали подыматься вверх, как раз неподалёку от того места, где глетчер уже отделился от каменистой почвы горы. Дальше пошли по самому

глетчеру, то шагая прямо по ледяным глыбам, то обходя их. Но Руди и ходок был хороший и карабкаться мастер. Глаза его так и блестели от удовольствия, и он так твёрдо ступал своими крепкими ногами, обутыми в подкованные башмаки, точно хотел отпечатать по дороге свои следы. Чёрный землистый осадок, оставленный горными потоками, придавал глетчеру вид покрытого штукатуркою, из-под которой проглядывал местами зеленовато-голубой, хрустальный лёд. То и дело приходилось обходить маленькие пруды, образовавшиеся между нагромождёнными одна на другую ледяными глыбами. Встретился им также по пути огромный камень, качавшийся на краю расщелины; вдруг он потерял равновесие и с грохотом покатился вниз; эхо гулко прокатилось по глубоким горным ущельям.

Путники всё подымались да подымались. Самый глетчер напоминал бурно разлившуюся и внезапно застывшую беспорядочно нагромождёнными одна на другую ледяными массами реку, сжатую между отвесными скалами. Руди вспомнилось на минуту, как он, по рассказам, лежал вместе с матерью в глубине одной из этих дышащих холодом расщелин. Но затем мысли его приняли другой оборот, – история эта была для него не диковиннее всех остальных, слышанных им в таком изобилии. В иных местах, где, по мнению спутников Руди, такому мальчугану трудно было карабкаться вверх, они протягивали ему руки, но он отказывался от помощи, говоря, что не устал, и держался на скользкой ледяной поверхности как серна. Путники шли то по обнажённым скалам, то пробирались между огромными голыми камнями, то по низенькому сосновому кустарнику, то опять шли по зелёной траве; природа вокруг них всё менялась, рисуя им всё новые и новые виды. Кругом подымались снежные горы, которые знает тут каждый ребёнок: «Юнгфрау», «Мёнх» и «Эйгер». Никогда ещё не случалось Руди взбираться на такую высоту, где расстиралось безбрежное снежное море. В самом деле, куда ни взглянешь – всюду неподвижные снежные волны, с которых ветер как будто срезал верхушки и разбросал их по сторонам отдельными пенистыми клочьями. Глетчеры стояли тут такую тесною толпой, словно хороводы водить собирались – если можно так выразиться. И каждый глетчер являлся хрустальным дворцом Девы Льдов; здесь

её царство; её воля здесь закон! А воля её – губить людей. Солнце светило ярко, снег сверкал ослепительной белизной и казался усеянным голубоватыми блестящими брильянтиками. Мёртвые насекомые, преимущественно бабочки и пчёлы, валялись на снегу массами; они отважились подняться слишком высоко – а может быть, их занесло в это безжизненное царство холода ветром – и погибли. На Веттергорне висело что-то вроде тонко расчёсанного чёрного хлопка шерсти – грозное облако. Оно опускалось всё ниже и ниже; что оно предвещало? Ураган, «фён», как называют здесь ужасный южный ветер. Впечатления этого путешествия навсегда врезались в память Руди: и ночлег в горах, и подъём, и глубокие ущелья, в которых вода точила каменные глыбы с незапамятных времён.

Покинутая каменная постройка, по ту сторону снежного моря, дала путникам приют на ночь. Они нашли тут древесный уголь и сосновые ветви. Запылал костёр, путники устроились на ночь, как могли удобнее. Оба проводника уселись возле огня, курили трубки и потягивали из кружек тёплое, пряное питьё, которое сами приготовили. Руди тоже получил свою порцию и сидел, прислушиваясь к рассказам о таинственных существах, населяющих Альпы, о диковинных, гигантских змеях, живущих в глубоких озёрах, о ночных привидениях, переносящих сонных людей по воздуху в дивный плавучий город Венецию, о диком пастухе, пасущем своих чёрных овец на горных пастбищах. Если никому никогда и не удавалось увидеть их, то, по крайней мере, часто слышали звон колокольчиков и отдалённое дикое блеяние стада. Руди с любопытством, но без всякого страха – его он не знал – стал прислушиваться, и вдруг ему почудилось, что он действительно слышит это таинственное, глухое блеяние... Да, оно слышалось всё явственнее и явственнее! Мужчины тоже услышали его, смолкли, прислушались и сказали Руди, чтобы он постарался не засыпать.

Это начался «фён», дикий ураган, который несётся с гор в долины и в своём неистовстве ломает деревья, как тростинки, переносит с одного берега рек на другой целые хижины, словно шахматные фигурки.

Прошёл час, проводники сказали Руди, что теперь всё кончилось

и он может уснуть. Усталый мальчуган заснул, как по приказу. Рано утром опять пустились в путь. В этот день солнце осветило для Руди новые, незнакомые ему горы, глетчеры и снежные равнины. Они уже вступили в кантон Валлис, перевалив через горный хребет, который виднелся из Гриндельвальда, но до нового жилища Руди было ещё далеко. Иные ущелья, иные горные лужайки, леса и горные тропинки развёртывались перед взором мальчика; показались иные дома, иные люди. И какие люди! Уроды, с жирными, жёлтыми лицами, с зобастыми шеями! Это были кретины. Они еле таскали ноги и глупо посматривали на пришлецов. Особенным безобразием отличались женщины. Такие ли люди ждут Руди на его новой родине?

III. ДЯДЯ

Слава Богу! В доме своего дяди Руди увидал таких же людей, к каким привык на родине. Тут был всего-навсего один кретин, слабоумный бедняга Саперли. Бедные создания эти распределены в кантоне Валлис по домам жителей и проводят в каждом по очереди месяца по два. Когда явился Руди, Саперли жил как раз у его дяди.

Дядя был ещё сильный, ловкий охотник, и кроме того бондарь по ремеслу. Жена его была маленького роста, но очень живая, подвижная женщина с каким-то птичьим лицом: глаза как у орлицы, шея длинная, покрытая пушком.

Всё было тут ново для Руди – и одежда, и нравы, и обычаи, даже самый язык. Но ухо ребёнка скоро освоилось с ним, и мальчик стал понимать окружающих. Всё здесь показывало достаток и благосостояние, куда большие, нежели знавал Руди в доме деда: горница, в которой помещалась семья, была гораздо просторнее, стены изукрашены рогами серн и отполированными ружьями, а над дверями висело изображение Божьей Матери, окружённое венком из свежих альпийских роз и освещённое лампадой.

Дядя слыл, как уже сказано, за отважнейшего охотника и лучшего проводника в окрестности. Руди скоро сделался баловнем семьи, хотя здесь и до него был уже таковой – старый пес. Он не годился больше ни к чему, но когда-то был прекрасною

охотничьей собакой. Хозяева помнили это и смотрели на него чуть ли не как на члена семьи, так что собаке жилось отлично. Руди первым делом погладил её, но она не так-то скоро подружилась с «чужим», каким явился для неё Руди. Мальчик, впрочем, скоро пустил прочные корни в сердцах всех домашних.

– Не так-то уж худо у нас, в кантоне Валлис! – говаривал дядя. – Серны у нас ещё водятся; они вымирают медленнее, чем каменные бараны. И в наши времена живётся много лучше, чем в старину. Как там ни расхваливают её, наше время всё же лучше. В нашем мешке прорезали дырку, впустили в нашу замкнутую долину свежего воздуха! На смену старому, отжившему всегда является новое и лучшее! – Так говаривал дядя, а если уж очень разговорится, то расскажет, бывало, и о своих детских годах, и о той поре, когда ещё был в цвете лет отец его. Вот в те-то времена, по его рассказам, Валлис и был «глухим мешком», набитым больными жалкими кретинами.

– Но вот, явились французские солдаты. То-то были заправские доктора! Живо уничтожили болезнь, да и людей вместе. Да, они умели драться на разные лады! И девушки их умели не хуже! – И дядя, смеясь, подмигивал своей жене, француженке родом. – Французы так ударяли по камням, что камни поддавались! Они пробили в скалах Симплонский проход, проложили такую дорогу, что я могу сказать теперь трёхлетнему ребёнку: ступай в Италию, только держись проезжей дороги! – И дядя затягивал французскую песню и провозглашал «ура» Наполеону Бонапарте.

Тут Руди впервые услышал о Франции и о Лионе, большом городе близ долины Роны, в котором дяде его случалось бывать.

В несколько лет из Руди должен был выработаться искусный охотник за сернами, – задатки в нём для этого были, по словам дяди. И дядя принялся учить мальчика держать в руках ружьё, прицеливаться и стрелять, брал его с собою на охоту и заставлял пить тёплую кровь серны, чтобы не знать головокружения. Учил он также племянника узнавать время, когда скатятся лавины в различных частях гор – в полдень или вечером, смотря по тому, как действовали на них солнечные лучи; учил наблюдать за сернами и учиться у них прыгать: падать прямо на ноги и стоять твёрдо, а если на скалистом

выступе не окажется опоры для ног, удерживаться локтями, пускать в дело каждый мускул в ляжках и икрах, впиваться в скалы, если понадобится, шейными позвонками! Серны умны и выставляют стражей, но охотник должен быть умнее их и заходить с подветренной стороны. И дядя умел так обманывать серн: вешал на свою альпийскую палку плащ и шляпу, и серпы принимали чучело за человека. Эту штуку дядя и применил раз на охоте, в которой участвовал и Руди.

Горная тропинка была очень узка, можно даже сказать, что её не было вовсе, а был лишь узкий карниз, лепившийся по краю скалы над пропастью. Снег, покрывавший его, наполовину растаял, камни осыпались под ногами; дядя растянулся во всю длину и пополз вперёд на животе. Каждый камешек, отрывавшийся от скалы, падал, прыгал и катился вниз, перепрыгивая с уступа на уступ, пока не успокаивался в бездне. Руди остался стоять шагах в ста от дяди, на последнем прочном выступе скалы. Вдруг, он увидел, что в воздухе парит над охотником огромный ягнятник, видимо собиравшийся сбить ползущего червяка ударами крыльев в бездну и там пожрать его. А дядя не видел ничего кроме серны да козлёнка, видневшихся по ту сторону ущелья. Руди зорко следил за птицей, он понял её намерение и держал ружьё наготове... Вдруг, серна сделала скачок – дядя выстрелил и животное было пронизано пулей; козлёнок же убежал, как будто всю жизнь свою только и делал, что спасался от погони. Огромная птица, испуганная выстрелом, улетела, и дядя только от Руди узнал о грозившей ему беде.

Весёлые, довольные возвращались они домой; дядя насвистывал песенку, знакомую ему ещё с детских лет; вдруг, невдалеке послышался какой-то странный звук. Они оглянулись и увидели, что снежный покров отделяется от вершины горы, вздувается, точно широкий кусок холста от ветра, и несётся вниз по склону. Хребты снежных волн трещали и ломались в куски, словно мраморные плиты, распускались в пену и бешено стремились вниз с грохотом, подобным раскатам грома. Это была лавина, катившаяся хоть и не прямо на Руди и его дядю, но близко, близко.

– Держись крепче, Руди! – закричал дядя. – Изо всех сил!

И Руди схватился за ближайший древесный ствол; дядя вскарабкался на одну из ветвей и тоже держался крепко. Лавина катилась в нескольких саженях от них, но ураган, поднявшийся вокруг, ломал в щепки кусты и деревья, как тонкие тростинки, и разбрасывал их во все стороны. Руди был брошен на землю; ствол, за который он держался, как будто перепилили, и вершину дерева отбросило далеко в сторону. Между изломанными ветвями лежал дядя с раздробленною головой; рука его была ещё тепла, но лицо неузнаваемо. Руди стоял над ним бледный, дрожащий. Это был первый страшный испуг в его жизни; тут он впервые пережил час ужасной опасности.

Ранним вечером принёс он весть о смерти дяди в его дом, который отныне становился домом печали. Тётка стояла без слёз, не говоря ни слова, и только когда труп принесли, горе её вырвалось наружу. Бедный кретин заполз в свою постель, и целый день его не было видно нигде; только вечером он подошёл к Руди.

– Напиши мне письмо! Саперли не умеет! Саперли отнесёт его на почту!

– Письмо? – переспросил Руди. – От тебя? Кому?

– Господу Христу!

– Кому?!

Идиот, как они звали кретина, посмотрел на Руди глазами, полными слёз, сложил руки и набожно, торжественно произнёс:

– Иисусу Христу! Саперли хочет послать Ему письмо, попросить Его, чтобы умер Саперли, а не хозяин!

Руди пожал ему руку. – Письмо не дойдёт! Оно не вернёт нам дядю!

Но трудно было Руди объяснить кретину, почему это невозможно.

– Теперь ты опора дома! – сказала тётка, и Руди стал ею.

IV. БАБЕТТА

Кто первый стрелок в кантоне Валлис? Спроси у серн, они знают. «Берегись Руди!» сказали бы они. А кто первый красавец? «Руди!» сказали бы девушки, но они не говорили: «Берегись Руди!» Не говорили этого и степенные матушки: он кланялся им

так же приветливо, как и молоденьким дочкам. Да, красивый он был парень! Смелый, весёлый, смуглый, с белыми, блестящими зубами и чёрными, как уголь, сверкающими глазами. И всего-то ему было двадцать лет! Он не боялся купаться в холодной воде, плавал, как рыба, карабкался по горам, как никто, лепился к отвесным скалам не хуже улитки, – мускулами и жилами он похвалиться мог. Прыгать он тоже умел; первым его учителем был, ведь, кот, а потом серны. Лучшим, надёжнейшим проводником тоже считался Руди, и этим занятием он мог бы составить себе целое состояние. Бондарным же ремеслом, которому также научил его дядя, он не занимался: его страстью была охота за сернами, но и это занятие приносило доходы. Руди считался поэтому «хорошею партией» для любой девушки; только бы он не занёсся слишком высоко! Отличался он и в танцах, да так, что о красавце-танцоре бредили и во сне, и наяву все девушки.

– А меня он поцеловал во время танцев! – сказала дочка школьного учителя Аннета своей лучшей подруге. Такие вещи трудно, ведь, хранить про себя: они так вот сами и бегут с языка, как песок из дырявого мешка! Скоро все узнали, что скромник Руди целуется в танцах, а он хоть и поцеловал, да не ту, которую ему больше всего хотелось.

– Ишь его! – сказал один старый охотник. – Он поцеловал Аннету! Начал с буквы А и верно перецелует всю азбуку!

Один поцелуй в танцах – вот и всё; больше болтать о Руди было нечего. Но он хоть и поцеловал Аннету, а сердце его было занято не ею.

Возле города Бэ, в тени ореховых деревьев, на берегу быстрого горного потока, жил богатый мельник. Занимал он большой дом, в три этажа, с маленькими башенками, обшитый тёсом и крытый жестяными листами, так и горевшими при солнечном и лунном свете. На самой большой башне флюгером служило яблоко, пронзённое блестящею стрелюю – в память о выстреле Вильгельма Телля. Мельница тоже смотрела такую нарядною и красивою, что так и просилась на картинку или в описание. Но дочку мельника нельзя было ни нарисовать, ни описать! Так по крайней мере сказал бы Руди, и всё-таки образ её был нарисован в его сердце. Глазки её зажгли в нём целое пламя, и вспыхнуло оно

вдруг, внезапно, как вспыхивает и всякий пожар. Удивительнее же всего было то, что сама-то дочка мельника, красотка Бабетта, и не подозревала о пожаре, который загла: дай Бог, чтобы она обменялась с Руди парой слов!

Мельник был богат, и потому Бабетта сидела очень высоко! Но нет такой высоты, на которую бы нельзя было взобраться – думалось Руди. Надо карабкаться, да не думать о том, что упадёшь, и не упадёшь! Эту мудростью он запасся ещё в доме у бабушки.

И вот Руди понадобилось побывать в Бэ, а туда было не близко – целое путешествие! Железной дороги в то время ещё не существовало. От Ронского глетчера до подножия Симплонской горы, между многочисленными и разнообразными горными высотами, тянется широкая Валлийская долина; по ней несётся могучая река Рона, которая часто выходит из берегов и катит свои волны по полям и дорогам, разрушая на своём пути всё. Между городами Сионом и С. Морисом, долина делает изгиб и близ самого С. Мориса становится до того узкою, что на ней только и остаётся место для русла реки, да для узкой проезжей дороги. Ветхая сторожевая башня кантона Валлис, который здесь оканчивается, стоит на горном склоне и смотрит через каменный мост на таможду, что на другом берегу. Там уже начинается кантон Во, и ближайший город тут – Бэ. Тут путник вступает в роскошную плодородную область; идёшь точно по саду, усаженному каштанами и ореховыми деревьями; там и сям поднимаются кипарисы и гранатовые деревья; здесь совсем юг, словно попал в Италию. Руди добрался до Бэ, уладил свои дела, потом стал разгуливать по городу, присматриваясь к людям, но увы! ему не встретился даже ни один работник с мельницы, не то что сама Бабетта. Не того он ожидал!

Свечерело, воздух был напоен благоуханием тмина и липового цвета; на поросшие зелёными лесами горы была как будто наброшена сияющая голубоватая дымка; стояла тишина, но не сонная или мёртвая, нет! Вся природа как будто притаила дыхание, притихла, словно позируя перед голубым небесным сводом, на котором должна была появиться её фотография. Там и сям среди деревьев и по зелёному полю возвышались столбы,

поддерживавшие телеграфную проволоку, проведённую через эту тихую долину. К одному из этих столбов прислонился какой-то предмет, до того неподвижный, что его можно было принять за обрубок дерева, но это был Руди. Он стоял, не шевелясь, притаив дыхание, как и всё окружающее. Он не спал и давно не умер, но, как по телеграфной проволоке часто пробегают известия о великих мировых событиях, или о жизненных моментах, полных значения для какого-нибудь отдельного человека, а самая проволока не выдаёт этого ни малейшим колебанием, так и в мозгу Руди проносились мысли, мощные, всепоглощающие мысли о счастье всей его жизни, ставшие отныне его постоянными мыслями, сам же он оставался неподвижным. Глаза его были прикованы к одной точке, к огоньку, мелькавшему между листвою деревьев; он горел в светёлке мельниковой дочки. Глядя на неподвижного Руди, можно было подумать, что он прицеливается в серну, но он сам в эту минуту был серною; серна тоже стоит иногда на одном месте, будто изваянная из скалы, и вдруг, внезапно, услышав шум от скатившего камня, делает прыжок и мчится прочь. То же было и с Руди, но его заставила встрепенуться мысль.

«Никогда не надо падать духом!» сказал он самому себе. «Надо прямо отправиться на мельницу! Поздороваться с мельником и Бабеттою! Не упадёшь, если сам о том не думаешь! Должна же Бабетта увидеть меня, раз я буду её мужем!»

И Руди засмеялся, ободрился и пошёл на мельницу; он знал, чего хотел, а хотел он жениться на Бабетте.

Желтоватая вода шумно бежала по своему руслу; к ней свесились ветвями ивы и липы; Руди прошёл по тропинке, но как и тот добрый молодец, о котором поётся в детской песенке:

„К дому мельника пришёл,
Никого там не нашёл,
Кроме серого кота!“

И тут тоже на лестнице стояла кошка, изгибала спинку и мяукала, но Руди не до неё было, и он постучал в дверь. Никто не отозвался, никто не отпёр. «Мяу!» сказала кошка. Будь Руди

маленьким, он бы понял её речь: «никого нет дома!», а вот теперь ему пришлось идти справляться о хозяевах на мельницу. Там ему сказали, что хозяин уехал в город Интерлакен, – «inter lacus», Междуозёрный, как объяснял школьный учитель, учёный отец Аннеты. Так вот туда-то и отправились мельник с Бабеттой: сегодня там начинается праздник, большое состязание стрелков, и будет длиться целую неделю. На этот праздник стекаются люди из всех немецких кантонов.

Бедняга Руди! Невовремя попал он в Бэ. Приходилось ему повернуть обратно; так он и сделал – направился мимо городков С. Морис и Сион к родной долине, родным горам, но духом не пал. На следующее утро солнце только ещё встало, а уж расположение его духа давно было в зените; оно, впрочем, никогда и не закатывалось. «Бабетта в Интерлакене, в нескольких днях ходьбы отсюда!» сказал он сам себе. «Далеко, если идти по проторенной дороге, но куда ближе, если пуститься напрямик через горы, а это и есть настоящая дорога для охотника за сернами. Да она и знакома мне, я уже ходил по ней: там за горами моя старая родина, там я жил ребёнком у бабушки!.. Так в Интерлакене праздник стрелков! Ну, я хочу получить первый приз, хочу быть там первым, как и в сердце Бабетты, когда познакомлюсь с нею!»

С лёгонькой котомкой за плечами, в которой лежало его праздничное платье, с ружьём и охотничьей сумкой, пустился Руди по горам, самую короткую дорогой. И всё же путь ему предстоял неблизкий! Но праздник, ведь, только что начался и продлится ещё больше недели, а всё это время, как сказали Руди рабочие, мельник с дочкой останутся у своих родственников в Интерлакене. Руди и пошёл через Гемми, намереваясь спуститься в Гриндельвальдскую долину.

Весело, бодро шагал он, впивая в себя свежий, лёгкий, живительный горный воздух. Долина опускалась всё глубже и глубже, горизонт всё расширялся; вот уже стали попадаться снежные вершины, и скоро он вступил в область снегов. Руди был знаком тут каждый уступ, каждая вершина; он направился прямо к Шрекгорну, высоко подымавшему к небу свой словно обсыпанный мукой каменный перст.

Наконец, Руди перешёл хребет. Зелёные пастбища спускались к его родимой долине; воздух был лёгок, на душе у него тоже было легко; гора и долина были убраны цветами и зеленью; сердце Руди билось от переполнявшего его чувства юношеской радости. «Старость никогда не придёт, смерть тоже! Жить, царствовать, наслаждаться!» Руди чувствовал себя свободным, лёгким, как птица! Ласточки сновали над ним, щебеча, как и во времена его детства: «Вы и мы! Мы и вы!» Всё в природе было полно жизни и радостного движения.

Внизу расстилался бархатисто-зелёный луг, с разбросанными по нему тёмными деревянными домиками; река шумела и гудела. Руди смотрел на глетчер, на его зеленоватые хрустальные края, выделявшиеся на грязном снегу, на глубокие трещины, смотрел на верхний и на нижний глетчер. До слуха его доносился звон церковных колоколов, точно приветствовавших его возвращение на старую родину. Сердце Руди забилось сильнее, расширилось и переполнилось воспоминаниями до того, что Бабетта на минуту совсем исчезла в нём.

Он опять шёл тою же дорогою, на которой стаивал, бывало, мальчиком вместе с другими ребятами и продавал резные деревянные домики. Вон там, за соснами виднеется ещё домик его дедушки; в нём живут теперь чужие. Ребятишки сбежались на дорогу, желая продать ему что-нибудь; один мальчуган протянул ему альпийскую розу, и Руди взял её, как добрый знак, подумав при этом о Бабетте. Скоро он перешёл мост, переброшенный через слившиеся вместе два рукава Лючины; лиственные деревья попадались всё чаще, ореховые были уже так высоки и густы, что давали тень. И вот, наконец, Руди увидел развевающийся флаг: белый крест на красном поле, флаг швейцарцев и датчан. Перед ним лежал Интерлакен.

Красивее городка и быть не могло, как казалось Руди. В самом деле, Швейцарский городок смотрел в своём праздничном наряде так приветливо, не то что другие провинциальные города, с кучей громоздких каменных домов, тяжёлые, неприветливые, надменные! Нет, тут деревянные домики как будто сами сбежали с горы в зелёную долину, к ясной, быстрой реке, и расположились в неправильный ряд, чтобы наскоро образовать улицу, да какую

ещё! Лучшую, прекраснейшую улицу в свете! Как она выросла с тех пор, как Руди видел её в последний раз! Право, она как будто образовалась из всех тех хорошеньких деревянных домиков, которые вырезывал когда-то его дедушка и которыми был набит старый шкаф; только домики успели с тех пор подрасти, как и старые каштаны. Каждый домик был «гостиницей»; окна и балконы были изукрашены резьбой, крыши выдавались вперёд. Домики смотрели такими чистенькими, нарядными; перед каждым красовался цветник, обращённый к широкой, вымощенной камнями проезжей дороге. Дома шли вдоль всей дороги, но лишь по одной стороне, а то бы закрылся вид на зелёный луг, на котором паслись коровы с колокольчиками на шее, звучащими как и на горных альпийских пастбищах. Луг был окаймлён высокими горами, которые в самой середине вдруг расступались и открывали вид на сияющую снежную вершину Юнгфрау, первой красавицы Швейцарии. Какое сборище разодетых иностранных господ и дам, какое смешение поселян из разных кантонов! На украшенных венками шляпах стрелков красовались номера, чтобы каждый знал свою очередь. Музыка, пение, звуки шарманок и духовых инструментов, крик и гам! Все дома и мосты были убраны щитами со стихотворными надписями и эмблемами; всюду развевались флаги и значки, раздавался выстрел за выстрелом!.. Это было для Руди лучшей музыкой, и в эту минуту он совсем забыл про Бабетту, ради которой явился сюда.

Стрелки толпились около тира; Руди тоже был в их числе и оказался самым счастливым; он без промаха попадал в самую середину мишени.

— Кто этот чужой молодец? — спрашивали все. — Он говорит по-французски, как говорят в кантоне Валлис, но хорошо объясняется и по-нашему, по-немецки! — говорили некоторые.

— Он жил ребёнком в окрестностях Гриндельвальда! — сказал кто-то.

Да, жизнь била в молодце ключом; глаза его блестели, глаз и рука были тверды, и он не давал промаха! Счастье придаёт смелости, а Руди и без того был смел. Скоро вокруг него образовался целый кружок друзей, его чествовали, хвалили, и Бабетта почти совсем вылетела у него из головы. Вдруг, на

плечо его легла тяжёлая рука, и грубый голос спросил по-французски:

– Вы из кантона Валлис?

Руди обернулся и увидал перед собою красное, довольное лицо толстого богача мельника из Бэ. Он совсем закрывал своею широкою массивною фигурою тоненькую, миловидную Бабетту; скоро, однако, её блестящие, тёмные глазки выглянули из-за его спины. Толстый мельник был польщён, что лучшим стрелком, героем праздника, оказывался его земляк. Руди в самом деле был счастливецом: те, ради кого он явился сюда, и кого в эту минуту почти позабыл, сами шли ему навстречу.

Случись двум землякам встретиться на чужбине, они сейчас узнают друг друга, сейчас разговоятся. Руди был здесь на празднике первым, благодаря своей меткой стрельбе, а мельник был первым у себя в Бэ, благодаря своим денежкам и хорошей мельнице, и вот они теперь пожали друг другу руки, чего никогда не делали прежде. Бабетта тоже доверчиво протянула Руди ручку, и он так пожал её, так поглядел на девушку, что она вся вспыхнула.

Мельник принялся рассказывать о том, какой длинный путь им привелось сделать, какие большие города они видели. Да, им таки пришлось попутешествовать! И на пароходе-то они плыли, и по железной дороге ехали, и в почтовых дилижансах!

– А я шёл кратчайшею дорогою! – сказал Руди. – Я перешёл через горы; высоконько это, но всё-таки взобраться можно!

– Да и сломать себе шею! – сказал мельник. – И вы таки сломите её себе со своею отвагой!

– Не думай, что упадёшь, и не упадёшь никогда! – ответил Руди. Родственники мельника, у которых гостили он и Бабетта в Интерлакене, пригласили Руди зайти к ним, – он, ведь, был земляком их родственников. Приглашение это было для Руди как раз кстати; счастье благоприятствовало ему, как и всегда тому, кто надеется на самого себя, памятуя, что «Господь Бог даёт нам орехи, да не раскалывает их для нас!»

И вот Руди сидел, в семейном кружке, у родственников мельника; все стали пить за здоровье первого стрелка, и Бабетта тоже чокнулась с Руди, а он горячо поблагодарил за тост.

Вечером все отправились гулять по красивой дороге, окаймлённой старыми ореховыми деревьями, мимо разукрашенных гостиниц. Но тут была такая давка и толкотня, что Руди пришлось предложить Бабетте руку. Он говорил ей, что ужасно рад встрече с земляками из кантона Во; кантоны Во и Валлис, ведь, соседи! И он высказал свою радость так искренно, что Бабетта сочла долгом пожать ему за это руку. Так они шли рука об руку и болтали, точно старые знакомые. А презанимательная была эта миленькая красоточка Бабетта! Она вышучивала смешные и эксцентричные одеяния и манеры барынь-иностранок, и Руди находил, что всё это выходило у неё премо! Она, ведь, только шутила, а вовсе не имела в виду надсмехаться над людьми, – они могли быть очень и очень почтенными и даже милыми и любезными барынями! Бабетта хорошо это знала, у неё самой была крестная мать, такая же знатная дама, англичанка. Восемнадцать лет тому назад, когда Бабетту крестили, дама эта жила в Бэ; она-то и подарила крестнице дорогую булавку, которую теперь Бабетта носила на груди. Крестная мать писала им два раза, а нынешний год они должны были опять свидеться с нею в Интерлакене, куда она собиралась приехать с двумя своими дочерьми, старыми девами, – им, ведь, уж было под тридцать, а самой Бабетте всего восемнадцать!

Хорошенький ротик всё время был в движении, но всё, что болтала Бабетта, казалось Руди необыкновенно важным, и он в свою очередь рассказал ей всё, что было нужно: рассказал, как часто бывал в Бэ, как знакома ему мельница, как часто он любовался на Бабетту – хотя она-то, вероятно, и не замечала его. Рассказал он и о своём последнем посещении мельницы, куда пришёл с такими намерениями, которых не смел теперь и высказать, но не застал дома ни её, ни отца её и узнал, что они уехали далеко, далеко! Не так однако же далеко, чтобы нельзя было перелезть через стену, преграждавшую путь!

Да, он сказал ей всё это и даже ещё больше – сказал, что любит её, и что явился сюда... только ради неё, а вовсе не ради состязания!

Бабетта совсем притихла: уж очень много, пожалуй, даже слишком много доверил он ей зараз!

Пока они гуляли, солнце село за высокие горы, но Юнгфрау ещё сияла в огненном венце, окружённая тёмно-зелёною рамкою соседних лесов. Толпы людей безмолвно любовались величавою картиною; Руди с Бабеттой тоже засмотрелись.

– Нигде в свете не может быть лучше! – сказала Бабетта.

– Нигде! – отозвался Руди и взглянул на Бабетту. – Завтра я должен отправиться домой! – прибавил он немного спустя.

– Навести нас в Бэ! – прошептала Бабетта. – Отец будет очень доволен!

V. ПО ПУТИ ДОМОЙ

Нелёгкую ношу пришлось тащить на себе Руди, возвращаясь на следующий день домой: три серебряных кубка, два великолепных ружья и серебряный кофейник! Ну этот-то пригодится, когда Руди обзаведётся домиком! Но не это было главное. Кое-что поважнее нёс он, вернее – несло его самого через горы. А погода между тем была сырая, серая, туманная, дождливая. Облака нависали над горами траурным крепом и заволакивали сияющие горные вершины. Из глубины леса доносились удары топора, и по горным склонам катились вниз деревья; сверху они казались щепками, а вблизи оказывались мачтовыми деревьями. Лючина однообразно шумела, ветер свистел, облака неслись по небу. Вдруг, возле Руди очутилась молодая девушка; он заметил её только тогда, когда она поравнялась с ним. Она тоже собиралась перейти через горы. В глазах её была какая-то притягательная сила, заставлявшая смотреть в них; они были удивительно прозрачные, ясные, как хрустальные, и глубокие-глубокие, какие-то бездонные!..

– Есть у тебя милый? – спросил её Руди; он теперь ни о чём другом и думать не мог.

– Никого у меня нет! – ответила она и рассмеялась; но видно было, что она лукавит. – Зачем же делать обход? – продолжала она. – Возьмём левее, короче будет!

– Да, да, возьмём левее, да и угодим в расщелину! – сказал Руди. – Так-то ты знаешь дорогу? А ещё в проводники набиваешься!

– Я знаю настоящую дорогу! – сказала она. – И у меня голова на плечах, а твоя осталась там внизу, в долине! Но здесь на высоте надо помнить о Деве Льдов! Говорят, она не очень-то благоволит к людям!

– Не боюсь я её! – сказал Руди. – Ей пришлось выпустить меня из своих лап, когда ещё я был ребёнком, а теперь-то я и подавно сумею уйти от неё!

Между тем стемнело, полил дождь, пошёл снег, блестящий, ослепительно белый.

– Дай сюда руку! Я помогу тебе взбираться! – сказала девушка и дотронулась до его руки холодными, как лёд, пальцами.

– Ты сможешь мне? – ответил Руди. – Я и без бабьей помощи давно умею лазить по горам! – И он ускорил шаги. Метель укутывала его словно саваном; ветер свистел, а позади охотника раздавались смех и пение девушки. Какие странные звуки! Должно быть, это было наваждение Девы Льдов. Руди много слышал об её проделках в ту ночёвку на горах, когда он отправлялся из дедушкиного дома к дяде.

Снег поредел, облака остались внизу; он оглянулся назад – никого уже не было видно, но хохот и пение раздавались по-прежнему. Странно, не по-человечески звучали они!

Наконец, Руди достиг высочайшей горной площадки, откуда уже начинался спуск в долину Роны; тут он увидел в той стороне, где лежит долина Шамуни, на узкой голубой полоске неба, проглянувшей из облаков, две ясные звёздочки. Руди вспомнилась Бабетта, он стал думать о ней, о себе самом, о своём счастье, и – на сердце у него стало так тепло!

VI. В ГОСТЯХ У МЕЛЬНИКА

– Вот так барские вещи принёс ты с собою, Руди! – сказала ему старая тётка, и её странные орлиные глаза засверкали, а худая шея заворочалась ещё быстрее. – Везёт тебе, Руди! Дай я расцелую тебя, милый мой мальчик!

И Руди позволил себя целовать, хотя по лицу его видно было, что он только покоряется обстоятельствам, примиряется с маленькими домашними неприятностями.

– Какой ты красавец, Руди! – прибавила старуха.

– Ну, ну, рассказывай сказки! – сказал Руди и засмеялся; слова старухи, однако, польстили ему.

–А я всё-таки повторю! – сказала она. – Везёт тебе!

– Ну, насчет этого-то я согласен с тобой! – ответил он, и ему вспомнилась Бабетта.

Никогда ещё он так не скучал по глубокой долине.

«Теперь они, верно, дома!» – сказал он сам себе. – «Ведь, прошло уже два дня с того срока, который они назначили! Надо пойти в Бэ!»

И Руди пошёл в Бэ. Хозяева оказались дома. Приняли его очень радушно и передали поклоны от Интерлакенских родственников. Бабетта говорила немного; она стала вдруг молчалива; зато говорили её глаза, и Руди этого было довольно. Мельник вообще любил поговорить сам, – он, ведь, привык, что над его прибаутками и красными словцами всегда дружно смеялись: ещё бы! он был такой богач! Но теперь он, по-видимому, предпочитал слушать рассказы Руди о его охотничьих приключениях. Руди рассказывал о трудностях и опасностях, которые приходится испытывать охотнику за сернами на высоких скалах, как приходится карабкаться по ненадёжным снежным карнизам, которые прилепляют к краю скал ветер да погода, перебираться по опасным мостам, переброшенным через пропасти снежной метелью. И глаза Руди так и блестели, когда он рассказывал об этих приключениях, о смыслённости серн, об их смелых прыжках, о свирепом «фёне» и катящихся лавинах. Он отлично замечал, что рассказы его всё больше и больше располагали к нему мельника; особенно же понравились тому рассказы об ягнятниках и отважных королевских орлах.

Неподалеку оттуда, в кантоне Валлис, – рассказывал между прочим Руди – находилось орлиное гнездо, хитро устроенное под выступом скалы. В гнезде был один птенец, но до него уж не добраться было! Ещё на днях один англичанин предлагал Руди целую горсть золота, если он достанет птенца живым. «Но всему есть границы!» – ответил ему Руди. «Орлёнка достать нельзя; надо быть сумасшедшим, чтобы взяться за такое дело!»

Вино текло, текла и беседа, и вечер показался Руди чересчур

коротким, а между тем он простился с хозяевами только далеко за полночь.

Свет ещё виднелся несколько времени в окнах дома и мелькал между ветвями деревьев. Из слухового окна вышла на крышу комнатная кошка, а по водосточной трубе поднялась туда кухонная.

– Знаешь новость на мельнице? – спросила комнатная кошка. – В доме тайная помолвка! Отец-то ещё ничего не знает! А Руди и Бабетта целый вечер то и дело наступали друг другу под столом на лапки! Они и на меня наступили два раза, но я и не мяукнула, чтобы не возбудить подозрений.

– А вот я так непременно мяукнула бы! – сказала кухонная кошка.

– Ну, что можно в кухне, то не годится в комнате! – сказала комнатная. – А хотелось бы мне знать, что скажет мельник, когда услышит о помолвке!

Да, это-то хотелось знать и Руди, и ждать долго он не смог. Через несколько дней по мосту, перекинутому через Рону и соединявшему кантоны Валлис и Во, катился дилижанс, а в нём сидел Руди, бодрый и смелый, как всегда, и предавался чудным мечтам о согласии, которое получит сегодня же вечером.

Когда же вечер настал и дилижанс покатился по той же дороге обратно, в нём опять сидел Руди, а комнатная кошка опять явилась с новостью.

– Эй, ты, из кухни! Знаешь что? Мельник-то, ведь, узнал всё. Нечего сказать, славный конец вышел! Руди явился сегодня под вечер и о чём-то долго шептался с Бабеттой в сенях, как раз перед комнатой мельника. Я лежала у самых их ног, но им не до меня было. «Я прямо пойду к твоему отцу!» сказал Руди: – «Что ж, это дело честное!» – «Не пойти ли мне с тобою?» спросила Бабетта: – «Я подбодрю тебя!» – «Я и без того бодр!» ответил Руди: – «Но, пожалуй, пойдём вместе; при тебе он волей-неволей будет сговорчивее!» И они вошли в комнату; по пути Руди пребольно наступил мне на хвост! Он ужасно неуклюж! Я мяукнула, но ни он, ни Бабетта и ухом не повели. Они отворил дверь, вошли оба, а я прошмыгнула вперёд и вспрыгнула на спинку стула, – кто ж его знал, как Руди станет тут

расшаркиваться! А вот мельник так шаркнул его! Любо! Вон из дома, в горы, к сернам! Пусть метит в них, а не в нашу Бабетточку!

– Ну, а что же Руди говорил? – спросила кухонная кошка.

– Говорил что? Да что всегда говорится при сватовстве: «Я люблю её, а она меня! А раз в кринке хватает молока на одного, хватит и на двоих!» – «Но она сидит слишком высоко! Тебе не достать её!» сказал мельник: «Она сидит на мешке с крупой, да ещё с золотою вдобавок! Вот что! Тебе не достать до неё!» – «До всего можно достать, была бы охота!» ответил Руди, – он, ведь, смелый такой. – «А вот орлёнка-то всё-таки не можешь достать, сам же сказал! Ну, а Бабетта сидит ещё повыше!» – «Я достану обоих!» сказал Руди. – «Так я подарю тебе Бабетту, когда ты подаришь мне живого орлёнка!» сказал мельник и захохотал так, что слёзы покатались у него по щекам. «А теперь спасибо за посещение, Руди! Приходи опять завтра, нас не будет дома! Прощай!» Бабетта тоже мяукнула «прощай», да так жалобно, словно котёнок, потерявший матку. – «Слово – слово, человек – человек!» сказал Руди: – «Не плачь, Бабетта! Я добуду орлёнка!» – «И надеюсь, сломишь себе шею!» сказал мельник: «А мы избавимся от твоей беготни!» Да вот это я называю «шаркнуть»! Теперь Руди нет, Бабетта сидит и плачет, а мельник напевает немецкую песню; он выучился ей во время поездки! Ну, что до меня, то я горевать не стану, – толку из этого не будет!

– Ну, всё же хоть для вида надо! – сказала кухонная кошка.

VII. ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

С горной тропинки неслись в долину весёлые, громкие «йодли»^[1], дышавшие удалью и бодростью духа. Это пел Руди; он шёл к другу своему Везинану.

– Ты должен помочь мне! Мы прихватим ещё Рагли, – мне надо достать орлёнка из гнезда под выступом скалы!

– Не хочешь ли сперва снять пятна с луны, это так же легко! – сказал Везинан. – Ты, видно, весело настроен сегодня!

– Да! Я, ведь, собираюсь жениться!.. Ну, а теперь поговорим

серьёзно: тебе надо знать всё!

И скоро и Везинан, и Рагли узнали, чего хотел Руди.

– Смелый ты парень! – сказали они. – Но это дело не выгорит! Сломаешь себе шею!

– Не упадёшь, если не будешь думать об этом! – ответил Руди.

Около полуночи они пустились в путь, запасшись шестами, лестницами и верёвками. Дорога шла кустарником, по скатывающимся камням, всё вверх. Было темно; воды шумели внизу, журчали в вышине; серые облака ползли над головами путников. Наконец, они поднялись на верхнюю площадку; здесь стало ещё темнее; отвесные утёсы почти сходились вверху, и оттуда светился лишь узенький клочок голубого неба. Внизу же у самых ног охотников разверзалась бездна, где глухо шумела вода. Тихо сидели они все трое, дожидаясь зари и вылета орлицы из гнезда. Надо было сначала застрелить её, а потом уж думать о поимке птенца. Руди сидел на низеньком камне так неподвижно, как будто и сам был из камня. Ружьё он держал наготове и не сводил глаз с верхнего уступа, под которым лепилось гнездо. Долго пришлось охотникам ждать.

Вдруг, в вышине над ними послышался свист могучих крыльев, и какой-то огромный предмет заслонил им свет. Два ружейные дула направились на орлицу в ту же минуту, как она вылетела из гнезда. Раздался выстрел... одно мгновение распростёртые крылья ещё шевелились, затем птица стала медленно опускаться вниз; казалось, эта огромная тяжёлая масса с широко-распростёртыми крыльями наполнит собою всё ущелье и увлечёт в бездну охотников. Но вот, птица исчезла в пропасти; послышался треск древесных сучьев и ветвей кустарника, которые обламывало в своём падении тело орла.

И вот, началась суетня; связали вместе три самые длинные лестницы и укрепили их на краю обрыва. Но оказалось, что они не достигали до гнезда; над последнею ступенью возвышался ещё порядочный уступ отвесной, гладкой, как стена, скалы, под верхним огромным выступом которой и находилось гнездо. После краткого совещания остановились на том, что иного ничего сделать нельзя, как взобраться на самую вершину скалы, и спустить оттуда вниз ещё пару связанных вместе лестниц и

прикрепить к трём, стоявшим на нижней площадке. С большим трудом втащили по тропинке вверх две лестницы и крепко связали их там верёвками. Затем лестницы были спущены с уступа и свободно повисли в воздухе над пропастью. Руди живо очутился на самой нижней ступени колеблющихся лестниц.

Утро было холодное, над чёрным ущельем клубился густой туман. Руди сидел как муха на зыблемой^[2] ветром соломинке, которую обронила на краю высокой фабричной трубы строящая там гнездо птица. Но муха-то может улететь, если соломинку сдует ветром, а Руди мог только сломать себе шею. Ветер свистел у него в ушах; внизу с шумом бежала вода, вытекавшая из таявшего глетчера, дворца Девы Льдов.

Вот Руди раскачал лестницу, как паук раскачивает свою длинную, колеблющуюся паутинку, собираясь прикрепить её к чему-нибудь. Коснувшись в четвёртый раз края лестницы, подымавшейся снизу, он поймал её, и скоро лестницы были связаны вместе верною, крепкою рукою; тем не менее они колебались и качались, точно скреплённые истёршимися петлями.

Все пять лестниц казались колеблющеюся тростинкой, вертикально упиравшеюся в стену скалы. Теперь предстояло самое трудное – вскарабкаться по ней, как кошка, но Руди умел и это; кот выучил его. Головокружения он не знал, а оно плыло по воздуху позади него, протягивая к нему свои полипыи руки. Вот Руди остановился на верхней ступеньке лестницы, но и отсюда он ещё не мог заглянуть в самое гнездо. Руди попробовал крепко ли держатся нижние, толстые ветви, из которых сплетено было дно гнезда, выбрал самую надёжную, уцепился за неё и приподнялся на руке. Теперь голова и грудь его были выше гнезда; он заглянул туда, но его так и отшибло удушливым зловонием падали: разложившихся овец, серн и птиц; Головокружение, не смевшее схватить его, нарочно дунуло ему в лицо эти ядовитые испарения, чтобы помутить его сознание. Внизу же, в чёрной зияющей глубине, на хребте снежных волн, сидела сама Дева Льдов, с распущенными длинными зеленоватыми волосами, и вперила в охотника свои мертвящие глаза, – ни дать ни взять два ружейных дула! «Теперь я поймаю тебя!»

В углу гнезда Руди увидел большого, сильного орлёнка, который ещё не умел летать. Руди пристально впери́л в него взор, и, крепко держась за ветку одною рукой, другою набросил на орлёнка петлю... Орленок был пойман живым! Петля захлестнулась вокруг его ноги; Руди вскинул петлю с птицей на плечи, так что она висела ниже его ног, сам же с помощью спущенной ему со скалы верёвки опять утвердился на верхней ступени лестницы. «Держись крепко! Не думай, что упадёшь, и не упадёшь никогда!» И он следовал этому мудрому совету, держался крепко, карабкался, был уверен, что не упадёт и – не упал. Раздался сильный, торжествующий «йодль»: Руди с орлёнком в руках стоял на твёрдой площадке скалы.

^[1]Йодль – муз. способ пения с переходами от низких грудных тонов к фальцету и наоборот, на тирольский манер или в стиле швейцарских горцев.

^[2]Зыбить – устар. либо поэт. колыхать что-либо, производить зыбь на чём-либо.

VIII. У КОМНАТНОЙ КОШКИ ОПЯТЬ НОВОСТИ

– Вот вам требуемое! – сказал Руди, войдя в горницу мельника, поставил на пол большую корзинку, снял с неё холст, и оттуда выглянули два жёлтых, окружённых чёрными ободками, глаза. Как они дико сверкали! Точно хотели впиться в тех, на кого смотрели, и испепелить их; короткий, сильный клюв широко раскрывался, собираясь укусить; красная шея была покрыта пухом.

– Орлёнок! – закричал мельник. Бабетта вскрикнула и отскочила в сторону, но не могла глаз оторвать от Руди и от орлёнка.

– Ну, ты не даёшь себя запугать! – сказал мельник.

– А вы всегда верны своему слову! У всякого своя особенность! – сказал Руди.

– Но отчего ты не сломал себе шеи? – спросил мельник.

– Оттого что держался крепко! – сказал Руди. – Так я и буду

продолжать – крепко держаться за Бабетту!

– Получи её сперва! – сказал мельник и засмеялся; это было добрым знаком, – Бабетта уж знала.

– Ну, давай-ка вытащим его из корзины! Ишь ты! Страх просто, как он тарашится! Как ты схватил его?

Руди пришлось рассказать обо всём; он говорил, а мельник всё шире и шире раскрывал глаза.

– С твоею удалю да счастьем ты прокормишь трёх жён! – сказал он, наконец.

– Спасибо! Спасибо! – вскричал Руди.

– Ну, да Бабетты-то ты всё-таки ещё не получил! – сказал мельник и шутливо похлопал молодого охотника по плечу.

– Знаешь новости? – спросила комнатная кошка кухонную. – Руди принёс нам орлёнка и взамен берёт Бабетту. Они уж целовались прямо на глазах у отца! Это, ведь, почти то же, что помолвка! Старик уж не порывался «шаркнуть» Руди за дверь, припрятал когти и прикурнул после обеда, а молодёжь оставил миловаться! А уж сколько им надо пересказать друг другу! Они не кончат и до Рождества.

Они и не кончили. Ветер крутил опавшую и побуревшую листву, снег шёл и в долине, и на горах. Дева Льдов сидела в своём гордом замке, который вырастал зимою. На скалах повисли толстые хоботообразные ледяные сосульки; это застыли горные потоки, которые летом извиваются тут, по скалам, словно серебристые ленты. Напудренные сосны сверкали ледяными кристаллами и фантастическими гирляндами... Дева Льдов со свистом носилась над глубокою долиною на крыльях буйного ветра; снежный ковёр покрывал всю местность вплоть до Бэ, так что она могла явиться и туда, и узнать, что Руди сделался домоседом, – вечно сидел у Бабетты! Свадьбу собирались сыграть летом, и у жениха и невесты часто звенело в ушах: друзья не переставали толковать о них. Резвая, весёлая Бабетта сияла, как солнышко, цвела как альпийская роза, была прелестна, как сама приближавшаяся весна, по мановению которой все птички должны были запеть о лете, и о свадьбе!

– И как только они могут вечно шушукаться, да нежничать? Мне это вечное их мяуканье просто надоело! – сказала комнатная

кошка.

IX. ДЕВА ЛЬДОВ

Весна убралась в зелёные, сочные гирлянды из ветвей ореховых и каштановых деревьев. Пышнее же всего оделись зеленью деревья у моста близ города Мориса, у берегов Женевского озера и по берегам Роны, дико выбегающей из-под зелёного глетчера, хрустального дворца Девы Льдов. Там её царство; там она переносится с одной снежной равнины на другую на крыльях буйного ветра, нежится на залитых солнцем, мягких снежных пуховиках, сидит и смотрит своими дальнозоркими глазами вниз, в глубокие долины, где, словно муравьи на освещённом солнцем камне, копошатся люди.

– Вы, «избранники духа», как называют вас дети солнца! – говорила она. – Козявки вы! Спустить на вас комок снега, и вы будете сплюснуты, раздавлены со всеми вашими домами и городами! – И она гордо вскидывала голову и озираала своим мертвящим взором окружающее, потом опять смотрела вниз. Снизу, из долины доносился грохот взрывов, – люди взрывали скалы, прокладывая туннели и мосты для железных дорог.

– Они играют в кротов! – сказала Дева Льдов. – Копают себе проходы, вот откуда эта ружейная трескотня. А вот двинь слегка мои дворцы я – раздастся грохот посильнее громовых раскатов!

Из долины подымался дымок; он двигался вперёд, развеваясь в воздухе; это развевался султан локомотива, который мчал по вновь проложенным рельсам извивающуюся змею – поезд; каждое кольцо было вагоном. Змея ползла вперёд с быстротою стрелы.

– Они играют там в господ, эти «избранники духа»! – сказала опять Дева Льдов. – Но силы природы всё же могущественнее их! – И она засмеялась, запела; грохотом отдались эти звуки в долине.

«Вот лавина катится!» сказали люди. А дети солнца ещё громче запели о человеческом уме, который господствует над миром, покоряет моря, двигает горы, засыпает пропасти. Ум человеческий господствует над силами природы!

В ту же самую минуту на снежную равнину, где сидела Дева

Льдов, взобралась компания путешественников. Они крепко связались все вместе веревкою, чтобы устойчивее двигаться по скользкой ледяной поверхности, у краёв пропасти.

– Козявки! – сказала Дева Льдов. – Вам быть господами над силами природы?! – И, отвернувшись от них, она вперила насмешливый взор в глубокую долину, по которой, пыхтя, мчался поезд. – Вон они сидят, эти «умы»! Я вижу каждого! Вон один восседает особняком, словно король! А вон там их целая куча! Половина из них спит! Когда же паровой дракон остановится, они вылезут и пойдут каждый своею дорогой. «Умы» разбредутся по свету! – И она рассмеялась.

«Опять лавина катится!» говорили люди в долине.

– До нас она не доберётся! – сказали двое путников, сидевших на спине дракона. Эти двое были, как говорится, «одной душой, одною мыслью». То ехали по железной дороге Руди и Бабетта; ехал с ними и мельник.

– В виде багажа! – говорил он. – Меня взяли с собою, как необходимое!

– Вон она сидит, эта парочка! – сказала Дева Льдов. – Сколько серн я раздавила, сколько миллионов роз раздробила так, что не осталось и корешков. Сотру я и их всех в порошок! «Умы»! «Избранники духа»! – И она засмеялась.

«Опять катится лавина!» сказали люди в долине.

Х. КРЕСТНАЯ МАТЬ

В Монтрэ, одном из ближайших городков, образующем вместе с городами Клараном, Вевэ и Крэном гирлянду вокруг северо-восточной части Женевского озера, жила крёстная мать Бабетты, знатная барыня, англичанка, со своими дочерьми и молодым родственником. Они только что прибыли туда, но мельник уже успел побывать у них и сообщить им и о помолвке Бабетты с Руди, и об орлёнке, и о празднике в Интерлакене, словом – обо всём. Всё это очень понравилось дамам и сильно расположило их в пользу Руди, Бабетты и самого мельника. И вот, их всех троих пригласили приехать в Монтрэ; они и приехали: надо же было крёстной матери повидать Бабетту, а Бабетте – крёстную мать.

На пароход садились как раз у небольшого городка Вильнева, у конца Женевского озера, и через полчаса приезжали в Вевэ, что лежит чуть пониже Монтрэ. Берег этот воспет поэтами; тут, в тени ореховых деревьев, сиживал у глубокого голубовато-зелёного озера Байрон и писал свою дивную поэму о Шильонском узнике; тут, где отражаются в воде плакучие ивы Кларана, ходил Руссо, обдумывая свою «Элоизу». Рона скользит у подножия высоких снежных гор Савойи; неподалеку от впадения реки, на озере лежит островок, такой маленький, что с берега кажется просто лодкой. Собственно говоря, это небольшая скала, которую лет сто тому назад одна дама велела обложить камнями, покрыть землёй и засадить акациями. Три акации покрывали теперь свою тенью весь островок. Бабетта пришла в восторг от этого клочка земли, он показался ей милее всего, что они видели по пути, и ей непременно захотелось побывать на нём. Там должно быть чудесно, восхитительно! Непременно надо заехать туда! Но пароход проехал, как и следовало, мимо – прямо в Вевэ.

Оттуда маленькая компания отправилась по дороге в Монтрэ; дорога шла в гору между двумя рядами белых, освещённых солнцем стен, которыми были обнесены виноградники; дома поселян уютись в тени фиговых деревьев, в садах росли лавры и кипарисы. Пансион, где жила крёстная мать, лежал на полпути между Вевэ и Монтрэ.

Гостей ожидал самый радушный приём. Крёстная мать оказалась высокою, приветливою дамой, с круглым улыбающимся лицом. В детстве она, наверно, походила на одного из рафаэлевских херувимов; теперь же херувим успел состариться; вьющиеся волосы, окружавшие когда-то его личико золотым ореолом, были теперь седы. Дочери её были нарядно одетые, изящные, длинные и стройные особы. Молодой их кузен, одетый с ног до головы в белое, рыжеволосый, с рыжими же и притом такими густыми бакенбардами, что их хватило бы на трёх джентльменов, выказал Бабетте величайшее внимание.

На большом столе в гостиной лежала масса книг в богатых переплётках, ноты и рисунки; дверь на балкон была открыта, а с балкона открывался чудный вид на озеро, такое тихое и гладкое, что Савойские горы с разбросанными по ним городками, лесами и

снегами на вершинах отражались в нём, как в зеркале. Руди, всегда такой бодрый, жизнерадостный, живой, чувствовал себя тут не в своей тарелке и еле-еле двигался по блестящему, скользкому полу, точно по нему был рассыпан горох. Да и время-то тянулось бесконечно! Попался Руди, словно белка в колесо, а тут ещё вздумали отправиться на прогулку! Время потянулось ещё медленнее. Руди положительно приходилось делать один шаг вперёд да два назад, чтобы не забежать вперёд других. Дойдя до старого, мрачного Шильонского замка, они зашли посмотреть на позорный столб темницы, куда сажали приговорённых к смерти, на ржавые цепи, ввинченные в скалистые стены, на каменные нары и на люки, в которые проваливались несчастные, попадая прямо на железные острые зубцы, и затем – в водоворот. И смотреть на всё это называлось удовольствием! Байрон воспел и опоэтизировал это ужасное место, но Руди видел в нём лишь то, чем оно было в действительности – место истязаний. Он облокотился на каменный выступ окна и смотрел на глубокую зеленовато-голубую воду и на уединённый островок с тремя акациями. Как ему хотелось туда, уйти от всей этой болтливой компании! Но Бабетте, как она призналась потом, было страсть, как весело! Кузена она нашла настоящим джентльменом.

– Настоящий болван он, вот что! – сказал Руди. И Бабетте в первый раз не понравилось то, что говорил Руди. Англичанин подарил ей на память о Шильоне книжечку; это была поэма Байрона «Шильонский узник», во французском переводе, так что Бабетта могла прочесть её.

– Книга-то, может статья, и хороша, – сказал Руди: – но этот лощёный молодчик, который подарил её тебе, ничего, по-моему, не стоит.

– Он точно мучной мешок без муки! – сказал мельник и сам захохотал над своей остроумною шуткою. Руди тоже рассмеялся, вполне соглашаясь с мельником.

XI. КУЗЕН

Явившись через несколько дней в гости на мельницу, Руди нашёл там молодого англичанина; Бабетта как раз угощала его вареною

форелью, которую, конечно собственноручно, украсила зелень петрушки, чтобы блюдо смотрело аппетитнее. Это уж было совсем лишнее! И что нужно тут этому англичанину? Чего он хотел? Чтобы Бабетта угощала его, любезничала с ним? Руди ревновал, и это тешило Бабетту. Ей весело было знакомиться со всеми сторонами его характера – и сильными, и слабыми. Любовь была ещё для неё игрою, вот она и играла с сердцем Руди, несмотря на то, что он был «её счастьем, мечтой её жизни, самым дорогим для неё человеком в свете!» И чем мрачнее глядел он, тем веселее смеялись её глазки; она готова была расцеловать белокурого англичанина с золотистыми бакенбардами, только бы Руди взбесился и убежал прочь. Это бы показало ей, как сильно он её любит! Неумно это было со стороны Бабетты! Ну и то сказать, ей, ведь, шёл всего девятнадцатый год! Где ей было сообразить, что она поступает нехорошо, что англичанин может истолковать себе её поведение совсем иначе, принять честную, только что просватанную дочку мельника за особу, более весёлую и легкомысленную, чем следовало.

Мельница стояла у проезжей дороги, которая бежала от самого Бэ под покрытыми снегом, скалистыми вершинами, носящими на местном наречии название «Diablerets»; неподалёку от мельницы, клубясь и пенясь, струился быстрый горный ручей. Двигал мельницу, однако, не он, а другой ручей поменьше, который, низвергаясь с утёса по другую сторону реки, пробегал сначала по каменной трубе под дорогом, потом с силой выбивался наверх и протекал по закрытому, широкому деревянному жёлобу, проведённому над водой с одного берега реки на другой. Этот-то ручей и вертел мельничные колёса. Жёлоб всегда так переполнялся водой, что представлял мокрый, скользкий и очень ненадёжный мост для того, кому бы вздумалось ради сокращения пути перебраться по нему на мельницу. А вот эта-то фантазия как раз и пришла молодому англичанину. Одетый с ног до головы в белое, как мельник, он перебирался вечером по жёлобу, руководимый светом, мелькавшим в окошке Бабетты. Но он не учился лазать и карабкаться и чуть было не выкупался в воде с головою, да по счастью отделался мокрыми рукавами и обрызганными панталонами. Мокрый, грязный явился он под окно

Бабетты, вскарабкался на старую липу и давай кричать по-совиному, – другой птице он подражать не умел. Бабетта услышала и поглядела сквозь тоненькие занавески, но увидя человека в белом и догадавшись, кто это такой, она и испугалась и рассердилась, быстро потушила свечку и, убедившись что все задвижки окна задвинуты плотно, предоставила англичанину петь и выть на здоровье.

Вот ужас был бы, если бы Руди находился на мельнице! Но Руди не было на мельнице. Нет, хуже – он был как раз тут, внизу! Послышался громкий, крупный разговор... Ну – быть драке, а, пожалуй, и до убийства дойдёт!

Бабетта в ужасе открыла окно, окликнула Руди и попросила его уйти: она не могла позволить ему остаться!

– Не можешь позволить мне остаться! – произнёс он. – Так у вас уговор был! Ты поджидаешь дружка получше, чем я! стыдно Бабетта!

– Гадкий! Противный! – сказала Бабетта. – Я ненавижу тебя! – И она заплакала. – Уходи! Уходи!

– Не заслужил я этого! – сказал он и ушёл. Щёки его горели, как в огне, сердце тоже.

Бабетта кинулась на постель, заливаясь слезами.

– Я тебя так люблю, Руди, а ты считаешь меня такую гадкою!..

И она рассердилась, ужасно рассердилась на него. Но то и хорошо было, иначе бы она уж чересчур разогорчилась. Теперь же она заснула здоровым, подкрепляющим сном юности.

XII. ЗЛЫЕ СИЛЫ

Руди, уйдя из Бэ, кинулся в горы, в этот свежий, холодный воздух, в область снегов, в царство Девы Льдов. Внизу виднелись лиственные деревья; они смотрели отсюда картофельною зеленью; сосны и кустарники становились всё мельче, там и сям попадались альпийские розы, росшие прямо на снегу, который местами напоминал разостланный для беления холст. Руди попала голубая горечавка; он смял её ружейным прикладом. В вышине показались две серны; глаза Руди заблестели, мысли приняли другой оборот. Но серны были ещё слишком далеко, чтобы

рассчитывать на верный выстрел. Руди поднялся ещё выше; здесь между каменными глыбами пробивалась уже одна жёсткая трава. Серны спокойно расхаживали по снежной равнине. Руди прибавил шагу, но туман вокруг всё сгущался, и он внезапно очутился перед отвесной скалой; начался проливной дождь.

Руди чувствовал жгучую жажду, голова его горела, а во всём теле ощущался озноб. Он схватился за свою охотничью фляжку, но она была пуста; он забыл про неё, как и про всё на свете, кидаясь в горы. Никогда ещё не хворал он, а теперь чувствовал что-то похожее на болезнь; им овладела какая-то усталость... Так бы вот и бросился ничком, да заснул! Но кругом было мокро, всюду струилась вода, и Руди старался овладеть собою. Все предметы как-то прыгали перед его глазами, и вдруг он увидел новую, только что построенную хижину, которую никогда не видел здесь прежде. Хижина лепилась к скале; в дверях стояла молодая девушка, похожая, как ему показалось, на Аннету, дочку школьного учителя, которую он раз поцеловал в танцах. Нет, это была не Аннета! И всё-таки лицо девушки было ему как будто знакомо. Где же он видел её раньше? Может быть, в Гриндельвальде, в тот вечер, когда возвращался с состязания стрелков, из Интерлакена?

– Как ты попала сюда? – спросил он.

– Я тут живу! – ответила она. – Пасу своё стадо!

– Где же оно пасётся? Тут один снег да голые скалы!

– Много ты знаешь! – рассмеялась она. – Тут позади, немножко пониже, чудесное пастбище! Там и ходят мои козы! Я стерегу их крепко! У меня уж не пропадёт ни одна; что моё, то моим и останется!

– Ишь, ты, какая храбрая! – сказал Руди.

– Ты тоже! – ответила она.

– Если у тебя есть молоко, дай мне! Смерть пить хочется!

– У меня есть для тебя кое-что получше! – молвила она. – Вчера тут были путешественники с проводниками и позабыли полбутылки вина. Ты ещё и не пробовал такого! Они за ней не пришлют, сама я не пью, так выпей ты!

И она вышла с вином, налила его в деревянную чашку и подала Руди.

– Славное вино! – сказал он. – Такого горячего, жгучего мне ещё не приходилось пробовать! – И глаза его заблестели, он ожил, огонь пробежал по его жилам; горе его словно рукой сняло. Он снова чувствовал себя свежим, бодрым, кипящим силой и молодостью.

– Да, ведь, это и впрямь Аннета! – произнёс он. – Поцелуй меня!

– А ты отдай мне твоё хорошенькое колечко!

– Моё обручальное кольцо?!

– Вот, вот! – сказала девушка, опять налила в чашку вина и поднесла к его губам; он выпил. Кровь в нём заиграла: весь свет – его, стоит ли горевать, всё манит к радости, к наслаждению!.. Река жизни – река наслаждения! Броситься в неё, отдаться течению – вот блаженство!.. Он взглянул на молодую девушку; это была Аннета, и в то же время как будто не Аннета, но никак и не злое наваждение, каким она показалась ему на Гриндельвальдском глетчере. Свежая, как только что выпавший снег, пышная, как альпийская роза, лёгкая, проворная, как серна, девушка всё же была создана из ребра Адама, была таким же человеком, как и Руди. И он обвил её руками, заглянул ей в удивительные, ясные глаза всего на одно мгновение, и – да, вот объясните, найдите для этого подходящее выражение! – исполнилась ли его душа высшей духовной жизни, или почувствовала холод смерти? Взлетел он ввысь или глубоко-глубоко опустился в ледяную пучину?.. Вокруг него вздымались зеленовато-голубые хрустальные ледяные стены, зияли ущелья, мелодично журчали струйки воды, звеня, словно колокольчики, и сияя светлым голубоватым пламенем... Дева Льдов поцеловала Руди, смертельный холод пробежал по его спине в мозг, он вскрикнул, рванулся, зашатался и упал. В глазах у него померкло, но скоро он открыл их опять. Злые силы сыграли таки с ним штуку!

Девушка исчезла, хижина тоже, с голой скалы стекала вода, кругом лежал снег. Руди дрожал от холода, – он промок до костей! Обручальное кольцо, кольцо, данное ему Бабеттою, тоже исчезло! Ружьё валялось на снегу возле него; он взял его, хотел выстрелить – осечка. В ущельях лежали густые облака, точно исполинские, снежные сугробы. На скале сидело

Головокружение и стерегло обессилевшую жертву. Внизу, в глубине ущелья, раздался гул, словно рушилась целая скала, раздробляя и увлекая за собою в бездну всё, что попадалось ей на пути.

А Бабетта сидела на мельнице и плакала: Руди не показывался вот уже целых шесть дней! А, ведь, виноватым-то был он, он должен был просить у неё прощенья, – она, ведь, любила его всем сердцем.

XIII. В ДОМЕ МЕЛЬНИКА

– Ну и бестолковщина же идёт у этих людей! – сказала комнатная кошка кухонной. – Теперь у Бабетты с Руди опять всё врозь пошло! Она плачет, а он и знать её не хочет больше!

– Не люблю я этого! – сказала кухонная кошка.

– И я тоже! – сказала первая. – Но горевать уж я не стану! Пусть Бабетта возьмёт себе другого жениха – того, с рыжими бакенбардами! Впрочем, и он не бывал здесь с тех пор, как собирался взлезть на крышу.

Злые силы творят своё и вне, и внутри нас; это Руди испытал на себе и крепко задумался над этим. Что случилось с ним, что творилось в нём самом там, на горах? Было ли то злое наваждение или горячечный бред? Но до сих пор он, ведь, не знавал ни лихорадки, ни других недугов! Осуждая Бабетту, он заглянул на минуту и вглубь собственной души, и ему вспомнилась бушевавшая в ней дикая буря, жгучий «фён», который вырвался из неё наружу. Мог ли он сам открыть Бабетте каждую свою мысль, которая в час искушения могла перейти в дело? Он потерял её кольцо, и, именно благодаря этой потере, Бабетта вновь обрела Руди. А она, могла ли она открыть ему всю свою душу? Сердце его как будто рвали на части, когда он думал о ней; в нём просыпалось столько воспоминаний! Он видел её перед собой как живую – весёлую, смеющуюся, детски-шаловливую! Ласковые слова, которых он столько слышал от неё в минуты сердечного упоения, прокрались в его душу солнечными лучами, и скоро она вся была залита ими – Бабетта опять могла воцариться в ней! «Да, она наверно могла открыть ему всю свою душу и –

откроет!»

И вот он пришёл на мельницу. Приступили к исповеди; началась она поцелуем, а кончилась тем, что виновным был признан Руди. Он был страшно виноват, позволив себе усомниться в верности Бабетты! Он поступил просто непозволительно, гадко! Такое недоверие, такая горячность могли погубить их обоих. Конечно! И вот, Бабетта прочитала ему маленькое нравоучение; это очень шло к ней и доставило ей большое удовольствие. Но в одном всё-таки Руди был прав: родственник крёстной мамы был просто шалопай! Она даже хотела сжечь книгу, которую он подарил ей, чтобы ничто больше не напоминало ей о нём.

– Ну, опять всё уладилось! – сказала комнатная кошка! – Руди опять тут, они столковались и говорят, что это величайшее счастье!

– А я слышала сегодня ночью от крыс, что величайшее счастье – пожирать сальные свечи и всегда иметь в запасе протухшее сало! Кому же теперь верить: крысам или людям?

– Ни тем, ни другим! – сказала комнатная кошка. – Это вернее всего!

Но величайшее счастье для Руди и Бабетты было ещё впереди; их ожидал прекраснейший день их жизни – день свадьбы.

Свадьбу собирались праздновать не в местной церкви, и не в доме мельника; крёстная пожелала, чтобы свадьбу сыграли у неё, а обряд был совершён в красивой маленькой церкви в Монтрэ. И мельник решил уважить требование крёстной матери: он один знал, что собиралась она подарить молодым, и нашёл, что такой свадебный подарок стоил маленькой уступки. День был назначен. Вечером накануне, мельник, жених и невеста должны были выехать в Вильнев, а с утренним пароходом заблаговременно прибыть в Монтрэ, чтобы дочери крёстной матери успели одеть невесту к венцу.

– Полагаю всё-таки, что они справят свадьбу и здесь, хоть на другой день! – сказала комнатная кошка. – Иначе я не дам и «мяу» за всю эту историю!

– Попируем и здесь! – ответила кухонная кошка. – Недаром резали столько уток и голубей, а на стене висит целая коза! У меня уж зубы чешутся, как погляжу! Завтра они уедут!

Да, завтра! Сегодня же вечером Руди и Бабетта в последний раз сидели на мельнице женихом и невестой.

«Альпийское зарево» пылало, вечерние колокола звонили, дети воздуха пели: «Да свершится всё к лучшему!»

XIV. НОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ

Солнце зашло, облака спустились в долину Роны, окружённую высокими горами, ветер дул с юга, из Африки. Он бурно проносился над высокими Альпами и рвал облака в клочья. Минутами «фён» утихал, и тогда воцарялась тишина. Разорванные облака нависали над поросшими лесом горами и быстрою Роною какими-то фантастическими образами: тут вырисовывалось допотопное морское чудовище, там – парящий орёл; здесь – какие-то скачущие лягушки. Они спускались к ревущему потоку, как будто плыли по нему, и всё-таки плыли по воздуху. Поток нёс вырванную с корнями сосну; по воде перед ней ходили круги: это волновали воду Головокружения, кружившиеся на бурлящем потоке. Луна освещала снежные вершины гор, тёмные леса, белые причудливые облака и видения ночи, духов природы. Горные жители часто видят их сквозь стёкла окон. Теперь они толпами проплывали перед Девой Льдов, которая вышла из своего хрустального дворца и плыла по быстрому потоку на хрупком корабле – вырванной из земли сосне – прямо в широкое озеро.

«Свадебный поезд мчится!» шумело и шелестело в воздухе и на воде.

Видения и тут и там.

Бабетте приснился удивительный сон.

Она как будто уже была много лет замужем за Руди. Он ушёл на охоту, а она осталась дома, и у неё сидел в гостях молодой англичанин с золотистыми бакенбардами. Глаза его смотрели так ласково, из уст лились такие чарующие слова, он протягивал ей руку, и она невольно пошла за ним! Они ушли из её родного дома, стали спускаться всё ниже и ниже... На сердце у Бабетты было так тяжело, и с каждой минутой становилось всё тяжелее. Она знала, что совершает грех, грех против Руди, грех против Бога!... Вдруг она очутилась одна, покинутая! Платье её было всё

изорвано о клочки тёрна, волосы поседели. Тоскливо взглянула она вверх и на скалистом уступе увидела Руди. Она протянула к нему руки, но не смела окликнуть его или обратиться к нему с мольбой о прощении. Да это и не повело бы ни к чему: она скоро заметила, что это был вовсе не Руди, а лишь его охотничья куртка и шляпа, повешенные на альпийскую палку, чучело, часто устраиваемое охотниками, чтобы обмануть серн. В приливе безграничной скорби Бабетта простонала: «О, лучше бы умереть мне в день моей свадьбы, счастливейший день моей жизни! Боже милосердный, это было бы для меня высшею милостью, величайшим счастьем и для меня, и для Руди! Никто не знает своего будущего!» И полная скорби и отчаяния она бросилась в пропасть. Порвалась струна, прозвучал печальный аккорд!...

Бабетта проснулась; сон кончился и улетучился из её памяти, но она помнила, что ей снилось что-то страшное, снился молодой англичанин, которого она не видела наяву вот уже несколько месяцев и о котором даже не вспоминала. Пожалуй, он теперь в Монтрэ? Неужели он будет на её свадьбе?

Лёгкая гримаса тронула изящный ротик, брови сдвинулись, но скоро в глазах засияла улыбка, – солнышко светило так ярко, и завтра её свадьба!

Сойдя вниз, Бабетта уже нашла там Руди; скоро все трое отправились в Вильнев. Жених и невеста были бесконечно счастливы, мельник просто сиял весь, – он был добрый отец, честная душа!

– Теперь мы господа в доме! – сказала комнатная кошка.

XV. КОНЕЦ

Трое счастливых прибыли в Вильнев ещё до наступления вечера. После обеда мельник уселся в кресло, закурил трубку и задремал, а молодая парочка вышла рука об руку из города и направилась по проезжей дороге, проходившей под обросшими кустарником скалами, вдоль голубовато-зелёного озера. Серые стены и громоздкие башни угрюмого Шильонского замка отражались в чистой, прозрачной воде. Маленький островок с тремя акациями лежал совсем близко и смотрел настоящим букетом, плавающим по

озеру.

– Там должно быть чудесно! – сказала Бабетта. Ей опять страшно захотелось туда, и желание это могло быть удовлетворено сейчас же. У берега качалась лодка; ничего не стоило отвязать её. Позволения просить было не у кого: вблизи не виднелось ни души живой. Руди с Бабеттой, не долго думая, уселись в лодку; грести Руди умел.

Вёсла, точно рыбы плавники, забирали послушную, легко поддающуюся воду. Послушную! – Да, она послушна, гибка и в то же время крепка; чего только ни носит она на своём хребте, чего ни поглощает её пасть! Она любовно улыбается, на вид – сама мягкость, сама нежность и всё же внушает людям страх своею мощною, всесокрушающею силой. Лодка оставляла за собой пенящийся след; через несколько минут она пристала к острову, и молодые люди вышли на берег. Тут можно было даже устроить танцы, но не больше, как для одной парочки.

Руди сделал с Бабеттой два, три тура; потом оба уселись на скамеечку под тень развесистых акаций, взялись за руки и долго сидели молча, любовно глядя друг на друга. Всё кругом было залито сиянием заходящего солнца. Горные сосновые леса приняли лиловатые оттенки цветущего вереска, голые же выступы скал сияли словно освещённые изнутри. Облака горели ярким пламенем, озеро алело, как свежий розовый лепесток. Но вот мало-помалу на снежные вершины Савойских скал стали ложиться тёмно-синие тени; только самые верхние зубцы ещё горели точно раскалённая лава, воскрешая в памяти наблюдателя момент образования самых гор, когда эти раскалённые массы поднялись из недр земли и ещё не успели остыть. Руди и Бабетте сдавалось, что они никогда не видали подобного «альпийского зарева». Покрытая снегами Dent du Midi блестела, словно только что выплывший на небосклон полный месяц.

«Какое великолепие! Какое счастье!» повторяли влюблённые.

– Земля не в состоянии дать мне большего! – сказал Руди. – Такой вечер, как сегодня, стоит, ведь, целой жизни! И как часто я ощущал такой же прилив счастья, как теперь, и думал, что, если бы даже с этим днём кончилась вся моя жизнь, мне нечего было бы жалеть о том, столько я уже испытал счастья! Но

дивно хорош Божий мир! День тот проходил, наступал новый и казался мне ещё лучше предыдущего! Господь бесконечно благ, Бабетта!

– Я так счастлива! – сказала она.

– Земля не в состоянии дать мне большего! – повторил Руди.

С гор Савойи, с гор Швейцарии доносился звон вечерних колоколов; на западе стояла в золотом венце тёмно-синяя Юра.

– Да устроит для тебя Господь всё к лучшему! – воскликнула Бабетта.

– Устроит! – сказал Руди. – И это будет завтра! Завтра ты всецело будешь моею! Моею собственной милою жёнкой!

– Лодка! – вскрикнула вдруг Бабетта.

Лодка, на которой они должны были переправиться обратно, отвязалась и отплыла от острова.

– Я поймаю её! – сказал Руди, сбросил куртку и сапоги, кинулся в воду и быстрыми взмахами поплыл к лодке.

Прозрачная голубовато-зелёная вода, вытекавшая из горного глетчера, была холодна как лёд и глубока. Руди бросил в глубину быстрый взгляд, и перед глазами его как будто замелькало, закружилось, засияло золотое колечко, то самое, которое он потерял! Кольцо стало расти, расширилось в сияющий круг, а в середине его заблестел глетчер. Вокруг зияли бездонные пропасти, вода журчала, звеня, словно колокольчики и сияя голубоватым пламенем. Всё, что мы должны описать столькими словами, Руди увидел в одно мгновение ока. Молодые охотники, девушки, женщины и мужчины, некогда провалившиеся в расщелины скал, стояли перед ним, как живые, широко раскрыв глаза и улыбаясь, а из глубины, из погребённых под лавинами городов, доносился колокольный звон; молящиеся преклонили колена под сводами церкви; льдины образовали орган, горные потоки загудели... На ясном, прозрачном дне сидела сама Дева Льдов; вот она поднялась к Руди, поцеловала его в ноги, и по телу его пробежал смертельный холод, электрический ток... Огонь и лёд!.. При мимолётном прикосновении к ним их, ведь, не различишь!

«Мой! Мой!» зазвучало вокруг него и в нём самом. «Я целовала тебя ещё маленького! Целовала тебя в губы, теперь же целую

твои подошвы и пятки, – ты весь мой!»

И Руди исчез в ясной синеватой глубине.

В воздухе стояла тишина; последние звуки колоколов замирали в воздухе, а вместе с ними исчезал и последний отблеск вечерней зари на облаках.

«Мой!» звучало в глубине. «Мой!» звучало в бесконечной вышине небес.

Блажен вознёсшийся от любви к любви, от любви земной – к любви небесной! Порвалась струна, прозвучал печальный аккорд, смерть запечатлела на брэнной оболочке свой ледяной поцелуй; пролог жизненной драмы кончился; диссонанс разрешился гармоническим аккордом.

Что ж, разве это печальная история?

Бедняжка Бабетта! Для неё это был час ужаса и скорби! Лодку относило всё дальше и дальше. Никто на берегу не знал, что жених с невестой отправились на островок. Сумерки всё сгущались, облака садились ниже, наступила тьма. Одна, покинутая, несчастная стояла Бабетта на острове. Над Юрой, Швейцарией и Савойей разразилась гроза; молнии блистали, удары грома следовали один за другим, раскаты продолжались по несколько минут. Молнии сверкали, как солнечные лучи; на мгновение становилось светло, как днём, и можно было явственно различить каждую тычинку, но затем опять всё погружалось во мрак. Молнии бороздили небо, извиваясь по нему хвостами, зигзагами, лентами, ударяли прямо в озеро, и оно вспыхивало то тут, то там; раскаты грома раздавались ещё громче, благодаря гулкому эху. На противоположном берегу торопливо вытаскивали на землю лодки; всё живое спешило куда-нибудь укрыться!.. И вот полил дождь.

– Где же, однако, Руди и Бабетта в такую непогоду! – сказал мельник.

Бабетта сидела, скрестив руки, опутив голову на грудь, онемев от скорби, обессилев от криков и жалоб.

«Там, на дне!» сказала она самой себе. «Глубоко, глубоко под воду, словно погребён в пропасти глетчера!»

И ей вспомнились рассказы Руди о смерти его матери, о том, как его вытащили из ледяного ущелья безжизненным. «Дева Льдов таки

поймала его!»

Блеснула ослепительная молния. Бабетта вскочила; озеро на мгновение приподнялось, точно сверкающий глетчер; на нём стояла Дева Льдов, величественная, вся озарённая голубым сиянием, и у ног её лежало тело Руди!.. «Мой!» сказала она, и всё опять потонуло во мраке. Дождь всё лил.

– Ужасно! – стонала Бабетта. – Зачем, зачем было ему умирать как раз на заре нашего счастливейшего дня! Господи, просвети мой ум! Просвети моё сердце! Пути Твои темны для меня! Я не могу уразуметь Твоего всемогущества и мудрости!

И Господь просветил её: как луч божественного милосердия мелькнуло в её мозгу воспоминание – её последний сон! Он восстал перед нею, как наяву; она вспомнила каждое своё слово, вспомнила, чего просила у Бога: «лучшего для себя и для Руди».

– Горе мне! Неужели зародыш греха таился в моём сердце? Неужели мой сон предвещал наше будущее, и нить его жизни должна была порваться ради моего спасения! О, я несчастная!

Так просидела она в слезах всю ночь. Среди глубокой тишины, казалось, звучали ещё последние слова Руди: «Большого, высшего счастья земля не может дать мне!» Они были сказаны в минуту блаженства, и теперь она повторяла их в час безысходной скорби.

Прошло два года. Озеро улыбается, берега тоже; в виноградниках висят пышные гроздья; разукрашенные флагами пароходы проплывают мимо; лодочки с распущенными парусами проносятся по зеркальной поверхности, словно бабочки. Железная дорога к Шильонскому замку открыта; она ведёт далеко вглубь долины Роны. На каждой станции выходят туристы-иностранцы и сейчас же справляются о местных достопримечательностях в книжке с красным переплётом. Они посещают Шильон, смотрят из его окон на островок с тремя акациями и читают в «Путеводителе» о женихе и невесте, отправившихся туда на лодке однажды вечером, 1856 г., о смерти жениха и о том, что «лишь на следующее утро услышали с берега отчаянные вопли невесты».

Но «Путеводитель» ничего не говорит о замкнутой, тихой жизни Бабетты у своего отца – не на мельнице, – там живут теперь чужие, но в хорошеньком домике близ вокзала. Часто стоит она

вечерами у окошка и смотрит через верхушки каштановых деревьев на снежные горы, по которым карабкался когда-то Руди, смотрит на альпийское зарево – сияние распостёртых крыл детей солнца, поющих о путнике, с которого ветер сорвал плащ; оболочку унёс он, а не самого человека.

На снегах горит розовый отблеск зари; ясная заря горит и в каждом человеческом сердце, которое верит, что «Бог всё устраивает к лучшему для нас!» Но не всегда это бывает нам открыто, как было открыто во сне Бабетте.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Муза нового века

Когда же проявит своё существование Муза нового века, которую узрят наши правнуки, а, может быть, и ещё более поздние поколения? Какова будет она? О чём споёт? Каких душевных струн коснётся? На какую высоту подымет свой век?

Да можно ли задавать столько вопросов в наше суетливое время, когда поэзия является чуть ли не помехой, когда ясно сознают, что от большинства «бессмертных» произведений современных поэтов останется в будущем много-много что-то вроде углевых надписей, встречающихся на тюремных стенах и привлекающих внимание разве некоторых случайных любопытных?

При таком положении дел, поэзии поневоле приходится принимать известное участие в жизни, играть хоть роль пыжа в борьбе партии, когда люди проливают кровь или чернила.

Это односторонний взгляд, скажут многие; поэзия не забыта и в наше время.

Нет. Находятся ещё люди, у которых в «ленивые понедельники»

просыпается потребность в поэзии; испытывая от голода духовное урчание в соответствующих благородных частях своего организма, они посылают слугу в книжный магазин купить поэзии – особенно рекомендуемой, на целых четыре скиллинга! Некоторые же довольствуются и тою поэзией, которую могут получить впридачу к покупкам, или удовлетворяются чтением печатных клочков, в которые лавочники завёртывают им покупки. Так выходит дешевле, а в наше суетливое время нельзя не обращать внимание на дешевизну. Итак, существующие потребности удовлетворяются, – чего же ещё? Поэзия же будущего, как и музыка будущего – только донкихотство, и говорить о них всё равно, что говорить о путешествии с научною целью на Уран!

Время слишком дорого, чтобы тратить его на фантазирование, а, ведь, что такое в сущности – если рассуждать, как следует – что такое поэзия? Эти звучные излияния чувств и мыслей – только движение и колебание нервов. Восторг, радость, боль, даже материальные стремления – всё это, по словам учёных, только колебание нервов. Каждый из нас в сущности нечто вроде арфы или другого струнного инструмента.

Но кто же затрагивает эти струны? Кто заставляет их колебаться и дрожать? Дух, незримый, божественный дух; его голос приводит их в колебание; они колеблются, звучат, и мелодия их или сливается с основным звуком в один гармонический аккорд, или образует могучий диссонанс. Так оно было, так и будет всегда в великом прогрессе человечества на пути свободного сознания.

Каждый век, можно даже сказать – каждое тысячелетие находит своё высшее выражение в поэзии. Рождённая в известную эпоху, Муза века выступает и царствует только в следующую.

Муза нового века родилась в наше суетливое время под грохот и стук машин. Привет ей! Она услышит или, может быть, прочтёт его когда-нибудь между только что упомянутыми углевыми надписями.

Колыбель её раскачивалась в пространстве, ограниченном с одной стороны крайнею точкой, которой касалась нога человека в его изысканиях на севере, а с другой – крайними пределами видимого человеку тёмного полярного горизонта. Мы не слышали скрипа её колыбели из-за шума стучащих машин, свиста паровозов, взрывов

скал материализма и грохота сбрасываемых умственных оков.

Она родилась в великой фабрике, представляемой ныне нашею землею, в эпоху господства пара, неустанной работы, господина «Бескровного» и его подручных.

У неё великое любвеобильное сердце женщины; в её душе горит священное пламя весталки и огонь страсти. Одарена она быстрым, ярким, как молния, умом, проникающим через тьму тысячелетий; в нём, как в призме, отражаются все оттенки господствовавших когда-либо людских мнений, сменявшихся согласно моде. Силу и сокровище новой Музы составляет лебединое оперение фантазии, вытканное наукой и оживлённое первобытными силами природы.

Она дитя народа по отцу; здравомыслящая, с здоровою душою, серьёзными глазами и улыбкой на устах. По матери же она ведёт род от знатных, академически-образованных эмигрантов, хранящих память о золотой эпохе «рококо». Муза нового века уродилась душой и телом в обоих.

«На зубок» ей положили в колыбель великолепные дары. В изобилии были насыпаны туда, словно лакомства, загадки природы с разгадками; из водолазного колокола высыпали ей разные безделушки и диковинки морского дна. На пологе была отпечатана карта неба, напоминающего океан с мириадами островов-миров. Солнце рисовало ей картинки; фотография должна была доставлять игрушки.

Кормилица пела ей песни северного скальда Эйвинда и восточного певца Фирдуси, песни миннезингеров и песни, что выливались из глубины истинно-поэтической души шаловливого Гейне. Много, даже слишком много, рассказывала ей кормилица. Муза знает и наводящие ужас предания пра-пра-бабушки Эдды, предания, в которых как бы слышится свист кровавых крыл проклятий. Она прослушала в четверть часа и всю восточную фантазию – «Тысячу и одну ночь».

Муза нового века ещё дитя, но она уже выпрыгнула из колыбели; она полна стремления, но ещё и сама не знает, к чему ей стремиться.

Она ещё играет в своей просторной детской, наполненной сокровищами искусств и безделушками стиля рококо. Тут же и чудные мраморные изваяния греческой трагедии и римской

комедии; по стенам развешаны, словно сухие травы, народные песни; стоит ей поцеловать их, и они пышно распустятся, свежие, благоухающие! Вокруг неё раздаются бессмертные созвучия Бетховена, Глюка, Моцарта и других великих мастеров. На книжной полке стоят произведения авторов, считавшихся в своё время бессмертными, но на ней хватило бы места и для трудов всех тех, чьи имена передаются нам по телеграфной проволоке бессмертия, но замирают вместе с передачей телеграммы.

Много, слишком много она читала; она, ведь, родилась в наше время, многое придётся ей забыть, и она сумеет позабыть.

Она ещё не думает о своей песне, которая будет жить в новом веке, как живут теперь вдохновенные творения Моисея и другие. Она ещё не думает о своей миссии, о своём будущем, она играет под шум борьбы наций, потрясающий воздух и образующий разные звуковые фигуры из гусиных перьев или из ядер – руны, которые трудно разгадать.

Она носит гарибальдийскую шапочку, читает Шекспира, и у неё мелькает мысль: «А ведь, его ещё можно будет ставить, когда я вырасту!» Кальдерон покоится в саркофаге своих произведений; надпись на нём говорит о его славе. Гольберга же – да, Муза, ведь, космополитка – она переплела в один том с Мольером, Плавтом и Аристофаном; но охотнее всего она читает всё-таки Мольера.

Ей незнакомо то беспокойство, которое гонит горную серну, но и её душа жаждет соли жизни, как горная серна – раздолья гор. В сердце её разлит такой же покой, каким дышат сказания древних евреев, этих номадов, кочевавших в тихие звёздные ночи по зелёным равнинам, и всё же, когда она поёт их, сердце её бьётся сильнее, чем билось оно у вдохновенного древнего воина с Фессалийских гор.

Ну, а насчёт её религии как? – Она изучила все философские таблицы, сломала себе на «происхождении первоначальных сил» один из молочных зубов, но получила взамен новый, вкусила плода познания ещё в колыбели и стала так умна, что «бессмертие» кажется ей гениальнейшей мыслью человечества.

Когда же настанет новый век поэзии? Когда выступит его Муза?

Когда мы услышим её?

В одно прекрасное весеннее утро она примчится на паровом драконе, с шумом пронесётся по туннелям, по мостам над пропастями, или пронесётся по бурному морю на пытящем дельфине, или по воздуху на птице Рок Монгольфиера и спустится на землю, откуда и раздастся впервые её приветствие человечеству. Откуда же? Не из земли ли Колумба, страны свободы, где туземцы стали гонимыми зверями, а африканцы – вьючными животными, страны, откуда прозвучала песнь о «Гиавате?» Или из земли наших антиподов, золотого острова в южном море, страны контрастов, где наша ночь является днём, где в мимозовых лесах поют чёрные лебеди? Или из той страны, где звенит и поёт нам колосс Мемнона, хотя мы и не понимаем пения сфинкса пустыни? С каменноугольного ли острова, где со времён Елизаветы господствует Шекспир? Из отчизны ли Тихо-де-Браге, где его не оценили, или из страны сказочных приключений, Калифорнии, где возносит к небу свою главу царь лесов – Веллингтоново дерево?

Когда же заблестит звезда с чела Музы? Когда распухнет цветок, на лепестках которого будет начертан символ красоты века, красоты форм, красок и благоухания?

«А какова будет программа новой Музы?» спросят сведущие «депутаты» от нашего времени. «Чего она хочет?»

Спросите лучше, чего она не хочет. Она не хочет выступить тенью истекшего времени! Не хочет мастерить новых драм из сданных в архив сценических эффектов, или прикрывать убожество драматической архитектуры ослепительными лирическими драпировками! Она на наших же глазах шагнёт в этой области так же далеко, как далеко шагнул мраморный амфитеатр от колесницы Фесписа. Она не хочет разбивать в куски естественную человеческую речь и потом лепить из них затейливые колокольчики с вкрадчивыми звуками времён состязаний трубадуров. Она не захочет признать поэзию дворянкой, а прозу мещанкой, – она сделает и стихи и прозу равными по звуку, полноте и силе. Не захочет она и вновь ваять старых богов из могучих, как скалы, исландских саг! Те боги умерли, и у нового века нет к ним сочувствия; они чужды ему! Не захочет она и

приглашать своих современников отдыхать мыслью в вертепах французских романов. Не захочет и усыплять их «обыкновенными историями»! Она хочет поднести современникам жизненный эликсир! Песнь её и в стихах и в прозе будет сжата, ясна и богата содержанием! Биенье сердца каждой национальности явится для неё лишь буквою в великой азбуке мирового развития, и она возьмёт каждую букву с одинаковою любовью, составит из них слова, и они ритмично польются в гимне, который она воспоёт своему веку!

Когда же наступит это время?

Для нас, ещё живущих здесь на земле, не скоро, а для улетевших вперёд – очень скоро.

Скоро рушится китайская стена; железные дороги Европы достигнут закрытых культурных архивов Азии, и два потока культуры сольются! Они зашумят, может быть, так грозно, что мы, престарелые представители современности, затрепещем, как перед наступлением Рагнарока, когда должны пасть старые боги. Но нам не следовало бы забывать, что эпохи и поколения человеческие должны сменяться и исчезать, что от них остаются лишь миниатюрные отражения, заключённые в рамки слова, которые и плывут по потоку вечности, словно цветы лотоса, говоря нам, что все эти поколения таких же людей, как и мы, только одетых иначе – действительно жили. Картина жизни древних евреев светит нам со страниц Библии, греков – из Иллиады и Одиссеи, а нашей жизни? Спроси у Музы нового века, спроси у неё во время Рагнарока, когда возникнет новая, преображённая Гимле^[1].

Вся сила пара, всякое давление современности послужат для Музы рычагами! Мастер «Бескровный» и его юркие подручные, которые казались могучими господами нашего времени, явятся лишь слугами, чёрными рабами, украшающими залы, подносящими сокровища и накрывающими столы для великого празднества, на котором Муза, невинная, как дитя, восторженная, как молодая девушка, и спокойная, опытная, как матрона, зажжёт дивный светоч поэзии, являющийся богатым, переполненным человеческим сердцем, в котором горит божественный огонь.

Привет тебе, Муза поэзии нового века! Привет наш вознесётся и

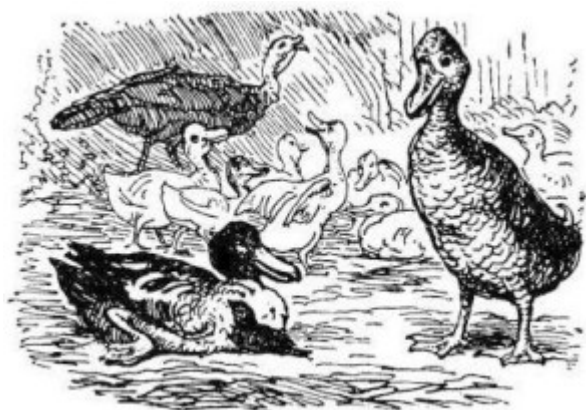
будет услышан, как бессловесный гимн червя, перерезанного плугом. Когда настанет новая весна, плуг опять пойдёт взрезывать землю и перерезывать нас червей ради удобрения почвы для новой богатой жатвы, нужной грядущим поколениям. Привет тебе, Муза нового века!

^[1]Гимле – По сев. миф. – одна из небесных обителей, самая прекрасная и светлая, избегающая разрушения во время Рагнарока и предназначенная для душ добрых и правдивых людей.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. На утином дворе (На птичьем дворе)



Из Португалии – а кто говорит из Испании, но это всё едино – вывезли утку; прозвали её Португалкою; она несла яйца, потом её зарезали, зажарили и подали на стол, – вот и вся её

история. Выводков из её яиц тоже звали Португалками, и это кое-что значило. Наконец, из всего потомства первой Португалки осталась на утином дворе только одна. На этот утиный двор допускались и куры с петухом, неизмеримо задиравшим нос.

– Он просто оскорбляет меня своим неистовым криком! – говорила Португалка. – Но он красив, – этого нельзя у него отнять – хоть и не сравнится с селезнем. Ему бы следовало быть посдержаннее, но, ведь, сдержанность – это целое искусство, требующее высшего образования. Этим отличаются певчие птички, что гнездятся вон там в соседском саду на липах! Как мило они поют! В их пении есть что-то такое трогательное, «португальское» – как я это называю! Будь у меня такая певчая птичка, я бы заменила ей мать, была бы с нею ласкова, добра! Это уж у меня в крови, в моём португальстве.

И как раз в эту минуту к ней и свалилась с крыши певчая птичка. Она шарахнулась оттуда, спасаясь от кошки, и отделалась сломанным крылом.

– Как это похоже на кошку, на эту кровопийцу! – сказала Португалка. – Я знаю её ещё с той поры, как у меня самой были утята! И подумать, что такому созданию позволяют жить и бегать тут по крышам! Нет, уж в Португалии, я думаю, этого не увидишь!

И она принялась соболезновать о бедной певчей птичке. Соболезновали и простые утки, не португальские.

– Бедная крошка! – говорили они, подходя к ней одна за другой.

– Сами мы не из певчих, но в нас есть внутренний резонанс или, как это назвать иначе? Мы чувствуем, хоть и не говорим о том!

– Так я поговорю! – сказала Португалка. – И сделаю для неё кое-что! Это прямой долг каждого! – С этими словами она подошла к корыту и зашлёпала во воде крыльями, так что чуть не потопила птичку под дождём брызг, но – от доброго сердца. – Вот это доброе дело! – сказала Португалка. – Пусть смотрят и берут пример.

– Пип! – пискнула птичка; сломанное крылышко не давало ей встряхнуться хорошенько; но она всё-таки понимала, что её выкупали от доброго сердца. – Вы очень добры, сударыня! – прибавила она, но о повторении душа не просила.

– Я никогда не думала о своей доброте! – ответила Португалка.
– Но я знаю, что люблю всех моих ближних, кроме кошки! А этого уж от меня и требовать не вправе. Она съела у меня двух утят!.. Ну, будьте же теперь здесь как дома! Это можно! Сама я тоже нездешняя, что вы, конечно, видите по моей осанке и оперению. А селезень мой здешний, не моей крови, но я не спесива!.. Если вас вообще кто-нибудь поймёт здесь во дворе, то, смею думать, это я!

– У неё Портулакия в зобу! – сострил один маленький простой утёнок; остальные простые утки нашли это бесподобным: Портулакия звучит, ведь, совсем как Португалия! И они подталкивали друг друга, крикая: Рап! Вот остряк! – Потом они опять заговаривали с певчею птичкой.

– Португалка – мастерица поговорить! – сказали они. – У нас нет таких громких слов в клюве, но и мы принимаем в вас не меньшее участие! И если мы ничего не делаем для вас, то не кричим об этом! По нашему так благороднее.

– У вас прелестный голос! – сказала одна из пожилых уток. – То-то, должно быть, приятно сознавать, что радуешь многих, как вы! Я, впрочем, мало смыслю в пении! Оттого и держу язык в клюве. Это лучше, чем болтать глупости, каких вам столько приходится выслушивать.

– Не надоедайте ей! – вмешалась Португалка. – Ей нужен отдых и уход. Хотите, я опять вас выкупаю, маленькая певунья?

– Ах, нет, нет! Позвольте мне остаться сухой! – попросила та.

– А мне только водяное лечение и помогает! – продолжала Португалка. – Развлечение тоже очень полезно! Вот скоро придут в гости соседки куры; между ними есть две китайки; они ходят в панталончиках и очень образованы. Они тоже нездешние, и это очень подымает их в моих глазах.

Куры явились; явился и петух. На этот раз он был настолько вежлив, что не грубиянил.

– Вы настоящая певчая птица! – сказал он птичке. – И делаете из своего крохотного голоска, что можете. Но надо иметь свисток посильнее, чтобы слышно было, что ты – мужчина!

Обе китайки пришли от птички в восторг: она после купанья была вся взъерошенная и напомнила им китайского цыплёнка. –

Как она мила! – сказали они и вступили с нею в беседу. Говорили они шёпотом и всё на «пе», как породистые китайки. – Мы, ведь, вашей породы! Утки, даже сама Португалка, принадлежат к водяным птицам, как вы, вероятно, заметили. Вы нас ещё не знаете, но и многие ли нас здесь знают, или дают себе труд узнать? Никто, даже из кур никто, хотя мы и рождены для более высокой нашествия^[1], нежели большинство! Ну да пусть! Мы смиренно идём своею дорогой среди других, хотя у нас и другие принципы: мы смотрим только на одно хорошее, говорим только о хорошем, хотя и трудно найти его там, где нет ничего! Кроме нас двух, да петуха, во всём курятнике нет даровитых и в то же время честных натур. Об утином дворе и говорить нечего. Мы предостерегаем вас, милая певунья! Не верьте вон той короткохвостой утке, – она хитрая! А вот та пёстрая, с кривым узором на перьях, страшная спорщица, никому не даёт сказать последнего слова, и сама всегда неправа! Та жирная утка обо всех отзывается дурно, а это противно нашей природе: уж если нельзя сказать хорошего, лучше молчать! Португалка одна отличается хоть некоторым образованием, и с нею ещё можно водиться, но она тоже пристрастна и слишком много говорит о своей Португалии.

– И что эти китайки расшептались! – удивлялась пара простых уток. – На меня они наводят скуку; я никогда с ними не разговариваю.

Вот, явился и селезень. Он принял певчую птичку за воробья.

– Ну да, я много не разбираю! – сказал он. – Всё едино! Она из породы шарманок; есть они – ну и ладно.

– Пусть себе говорит, а вы не обращайтесь внимания! – шепнула птичке Португалка. – Он зато весьма деловитый селезень, а дела, ведь, главное!.. Ну, а теперь, я прилягу отдохнуть. Это прямой долг по отношению к самой себе, если хочешь разжиреть и быть набальзамированной яблоками и черносливом.

И она улеглась на солнышке, помигивая одним глазом. Улеглась она хорошо, сама была хороша, и заснула хорошо. Певчая птичка почесала сломанное крылышко и прилегла к своей покровительнице. Солнышко так славно пригревало, тут было

чудесное местечко.

Соседские куры принялись рыться в земле; они в сущности и приходили сюда только за кормом. Потом они стали расходиться; первые ушли китайки, за ними и остальные. Остроумный утёнок сказал про Португалку, что она скоро впадёт в «утиное детство». Другие утки закричали от смеха. «Утиное детство!» Ах, он бесподобен! Вот остряк!» И они повторяли и прежнюю его остроту: «Портулакия». Ужасно забавно было! Затем улеглись и они.

Прошёл час, вдруг на двор выплеснули помои и всякие кухонные отброски. От этого всплеска вся спящая компания проснулась и забила крыльями. Проснулась и Португалка, перевалилась на другой бок и пребольно придавила певчую птичку.

– Пип! – пискнула та. – Вы наступили на меня, сударыня!

– Не попадайтесь под ноги! – ответила Португалка. – Да не будьте такую неженкой! У меня тоже есть нервы, а я никогда не пишу!

– Не сердитесь! – сказала птичка. – Это у меня так вырвалось!

Но Португалка не слушала, бросилась на поживу и отлично пообедала. Покончив с едой, она опять улеглась. Птичка снова подошла к ней и хотела было доставить ей удовольствие своим пением:

Чу-чу-чу-чу!

Уж я не промолчу,

Я вас воспеть хочу!

Чу-чу-чу-чу!

– Теперь мне надо отдохнуть после обеда! – сказала утка. – Пора вам привыкать к здешним порядкам! Я спать хочу!

Бедная птичка совсем растерялась: она, ведь, хотела услужить! Когда же госпожа Португалка проснулась, птичка уж опять стояла перед нею и поднесла ей найденное зёрнышко. Но утка не выпалась, как следует, и, разумеется, была не в духе.

– Отдайте это цыплёнку! – крикнула она. – Да не стойте у меня над душой!

– Да вы сердиты на меня? – спросила птичка. – Что же я сделала?

– Сделала! – повторила Португалка. – Выражение не из изящных,

позвольте вам заметить!

– Вчера светило солнышко, – сказала птичка: – а сегодня так серо, темно! Мне так грустно!

– Вы не сильны во времяисчислении! – сказала Португалка. – День ещё не кончился! Да не смотрите же так глупо!

– Теперь у вас точь в точь такие же злые глаза, как те, от которых я спаслась сюда!..

– Ах, бесстыдница! – сказала Португалка. – Вы меня приравниваете к кошке, этой хищнице? В моей крови нет ни единой злой капельки! Я приняла в вас участие и научу вас приличному обхождению!

И она откусила птичке голову; птичка упала мёртвая.

– Это ещё что?! – сказала Португалка. – И этого перенести не могла? Ну, так она и не жилица была на этом свете! А я была для неё матерью, это я знаю! Сердце у меня есть!

Соседский петух просунул голову на двор и закукурекал, что твой паровоз.

– Вы изводите меня своим криком! – сказала утка. – Это всё вы виноваты! Она потеряла голову, да и я свою скоро потеряю!

– Не много-то места она теперь занимает! – сказал петух.

– Говорите о ней почтительнее! – сказала Португалка. – У неё был голос, она умела петь, была образована! Она была нежная и любящая, а это также приличествует животным, как и так называемым людям!

Вокруг мёртвой птички собрались все утки; утки вообще сильно чувствуют и выражают свои чувства: и зависть и жалость. Тут завидовать было нечему, так они жалели. Пришли и куры-китаянки.

– Такой певчей птички нам уж не нажить! Она была почти что китаянка! – И они всхлипывали; другие куры тоже, а утки ходили с красными глазами.

– Сердце-то у нас есть! – говорили они. – Этого уж у нас не отнимут!

– Сердце! – повторила Португалка. – Да, этого-то добра у нас здесь почти столько же, сколько и в Португалии!

– Подумаем-ка лучше, чем бы набить зобы! – заметил селезень. – Это важнее всего! А если и разбилась одна шарманка, что ж? Их

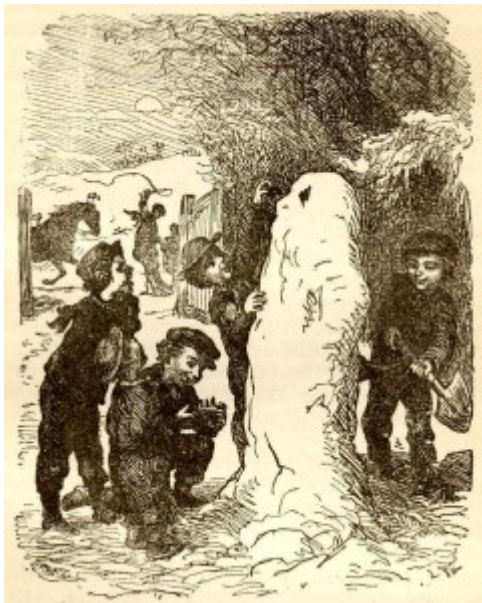
ещё довольно осталось на свете!

^[1]Нашесть – насест, перекладина, жёрдочка в курятнике, на которую садятся на ночь куры, индейки и т. п.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Снеговик (Снегур)



Так и хрустит во мне! Славный морозец! – сказал снеговик. – Ветер-то, ветер-то так и кусает! Просто любо! А ты что тарачишься, пучеглазое? – Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. – Впрочем, валяй, валяй! Я и не моргну! Устоим!

Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы, вместо рта красовался обломок старых граблей; значит, он был и

с зубами.

Кликните на этот рисунок чтобы открыть полноразмерную иллюстрацию. На свет он появился под радостные «ура» мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов.

Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная!

– Ишь, с другой стороны ползет! – сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. – Я все-таки отучил его пялить на меня глаза! Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне было видно себя!.. Ах, как бы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться! Так бы и побежал туда на лед покататься, как давеча мальчишки! Беда – не могу сдвинуться с места!

– Вон! Вон! – залаял старый цепной пес; он немножко охрип – ведь когда-то он был комнатною собачкой и лежал у печки. – Солнце выучит тебя двигаться! Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже! Вон! Вон! Все убрались вон!

– О чем ты толкуешь, дружище? – сказал снеговик. – Вон та пучеглазая выучит меня двигаться? – Снеговик говорил про луну. – Она сама-то удрала от меня давеча; я так пристально посмотрел на нее в упор! А теперь вон опять выползла с другой стороны!

– Много ты мыслишь! – сказал цепной пес. – Ну да, ведь тебя только что вылепили! Та, что глядит теперь, луна, а то, что ушло, солнце; оно опять вернется завтра. Уж оно подвинет тебя – прямо в канаву! Погода переменится! Я чую – левая нога заныла! Переменится, переменится!

– Не пойму я тебя что-то! – сказал снеговик. – А сдается, ты сулишь мне недоброе! То красноглазое, что зовут солнцем, тоже мне не друг, я уж чую!

– Вон! Вон! – пролаяла цепная собака, три раза повернувшись вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать.

Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым, тягучим туманом; потом подул резкий, леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота, когда вошло солнышко!

Деревья и кусты в саду стояли все покрытые инеем, точно лес из белых кораллов! Все ветви словно оделись блестящими белыми цветочками! Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны; от каждой ветви как будто лилось сияние! Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила; длинные ветви ее с пушистою бахромой тихо шевелились – точь-в-точь как летом! Вот было великолепие! Встало солнышко... Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными, ослепительно-белыми огоньками! Все было точно осыпано алмазною пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты!

Кликните на этот рисунок чтобы открыть полноразмерную иллюстрацию. – Что за прелесть! – сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. – Летом такого великолепия не увидишь! – сказала она, вся сияя от удовольствия.

– И такого молодца тоже! – сказал молодой человек, указывая на снеговика. – Он бесподобен!

Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговика и пустилась с молодым человеком по снегу вприпрыжку, у них под ногами так и захрустело, точно они бежали по крахмалу.

– Кто такие эти двое? – спросил снеговик цепную собаку. – Ты ведь живешь тут подольше меня; знаешь ты их?

– Знаю! – сказала собака. – Она гладила меня, а он бросал косточки; таких я не кусаю.

– А что же они из себя изображают? – спросил снеговик.

– Паррочку! – сказала цепная собака. – Вот они поселятся в

конуре и будут вместе глодать кости! Вон! Вон!

– Ну, а значат они что-нибудь, как вот я да ты?

– Да ведь они господа! – сказал пес. – Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет божий! Это я по тебе вижу! Вот я так богат и годами и знанием! Я всех, всех знаю здесь! да, я знавал времена получше!.. Не мерз тут в холоде на цепи! Вон! Вон!

– Славный морозец! – сказал снеговик. – Ну, ну, рассказывай! Только не греми цепью, а то меня просто коробит!

– Вон! Вон! – залаял цепной пес. – Я был щенком, крошечным хорошеньким щенком, и лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ! Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками! Звали меня Милкой, Крошкой!.. Потом я подрос, велик для них стал, м меня подарили ключнице, я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда; с твоего места отлично видно. Так вот, в той каморке я и зажил как барин! Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху: меня не таскали и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если не лучше! У меня была своя подушка, и еще там была печка, самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода! Я даже уползал под нее!.. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке! Вон! Вон!

– Разве уж она так хороша, печка-то? – спросил снеговик. – Похожа она на меня?

– Ничуть! Вот сказал тоже! Печка черна как уголь: у нее длинная шея и медное пузо! Она так и пожирает дрова, огонь пышет у нее изо рта! Рядом с нею, под нею – настоящее блаженство! ее видно в окно, погляди!

Кликните на этот рисунок чтобы открыть полноразмерную иллюстрацию. Снеговик посмотрел и в самом деле увидел черную блестящую штуку с медным животом; в животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило такое страшное желание, – в нем как-будто зашевелилось что-то... Что такое нашло на него, он и сам

не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик.

– Зачем же ты ушел от нее? – спросил снеговик пса, он чувствовал, что печка – существо женского пола. – как ты мог уйти оттуда?

– Пришлось поневоле! – сказал цепной пес. – Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего барчука – он хотел отнять у меня кость! «Кость за кость!» – думаю себе... А они осердились, и я оказался на цепи! Потерял голос... Слышишь, как я хриплю? Вон! Вон! Вот тебе и вся недолга!

Снеговик уже не слушал; он не сводил глаз с подвального этажа, с каморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной с самого снеговика.

– Во мне что-то странно шевелится! – сказал он. – Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание, отчего ж бы ему не сбыться! Это мое самое заветное, мое единственное желание! Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда к ней... Прижаться к ней во что бы то не стало, хоть бы разбить окно!

– Туда тебе не попасть! – сказал цепной пес. – А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец! Вон! Вон!

– Мне уж и так конец подходит, того и гляди, свалюсь!

Целый день снеговик стоял и смотрел в окно; в сумерки каморка выглядела еще приветливее; печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне! Куда им! Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя.

– Не выдержу! – сказал он. – Как мило она высовывает язык! Как это идет ей!

Ночь была длинная, длинная, только не для снеговика; он весь

погрузился в чудесные мечты, – они так и трещали в нем от мороза.

К утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором, цветами; лучших снеговик и желать не мог бы, но они скрыли печку! Мороз так и трещал, снег хрустел, снеговик радуваться да радуваться бы, так нет! Он тосковал о печке! Он был положительно болен.

– Ну, это опасная болезнь для снеговика! – сказал пес. – Я тоже страдал этим, но поправился. Вон! Вон! Будет перемена погоды!

И погода переменилась, началась оттепель.

Зазвенела капель, а снеговик таял на глазах, но он не говорил ничего, не жаловался, а это плохой признак. В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки; на ней-то мальчишки и укрепили его.

– Ну, теперь я понимаю его тоску! – сказал цепной пес – У него внутри была кочерга! Вот что шевелилось в нем! Теперь все прошло! Вон! Вон!

Скоро прошла и зима.

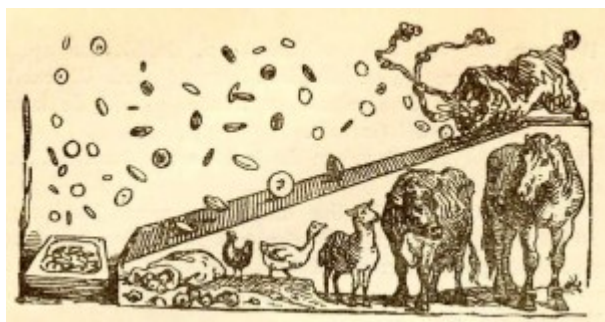
– Вон! Вон! – лаял цепной пес, а девочки на улице пели:

Цветочек лесной, поскорей распускайся!
Ты, вербочка, мягким пушком одевайся!
Кукушки, скворцы, прилетайте,
Весну нам красну воспевайте!
И мы вам подтянем: ай, люли-люли,
Деньки наши красные снова пришли!

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Уж что муженек сделает, то и ладно (Что муженёк ни сделает, всё хорошо)



Расскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне всё лучше и лучше: и с историями, ведь, бывает то же, что с многими людьми, и они становятся с годами всё лучше и лучше, а это куда как хорошо!

Тебе, ведь, случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые избушки с соломенными кровлями? Крыши у них поросли мхом, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебные печи выпячивают на улицу свои толстенные брюшки, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужица воды, по которой плавают утка или утята, там уж, глядишь, приткнулась и корявая ива. Возле избушки есть, конечно, и цепная собака, что лает на всех и каждого.

Вот точь-в-точь такая-то избушка и стояла у нас за городом, а в ней жили старички, муж с женой. Как ни скромно было их хозяйство, им всё-таки было чем одолжить других, – была у них лошадь, кормившаяся травой, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город; одолжал её соседям, ну, а уж

известно, за услугу оплачивают услугой! Но всё-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или променять на что-нибудь более подходящее и полезное. Только на что бы такое?

– Ну, уж тебе это лучше знать муженёк! – сказала жена. – Теперь как раз ярмарка в городе, поезжай туда да и продай лошадку или променяй с выгодой! Уж что ты сделаешь, то всегда ладно! Поезжай с Богом!

И она повязала ему на шею платок, – это-то она всё-таки умела делать лучше мужа – завязала его двойным узлом; очень шикарно вышло! Потом она пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его прямо в губы. И вот, он поехал на лошади, которую надо было или продать или променять в городе. Уж он-то знал своё дело!

Солнце так и пекло, на небе не было ни облачка! Пыль по дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу – кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная; солнёк и – ни малейшей тени по всей дороге.

Шёл тут и какой-то человек с коровой; вот уж была корова, так корова, чудесная! «Верно и молоко даёт чудесное!» подумал наш крестьянин. «То-то была бы мена, если бы сменять на неё лошадь!» – Эй, ты там, с коровой? – крикнул он. – Поговорим-ка! Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит подороже твоей коровы! Но так и быть: мне корова сподручнее! Поменяемся?

– Ладно! – ответил тот, и они поменялись.

Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть восвояси, – он, ведь, сделал, что было нужно; но раз уж он вздумал побывать на ярмарке, так и надо было – хотя бы для того только, чтоб поглядеть на неё. Вот он и пошёл с коровой дальше. Шагал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вёл овцу. Овца была добрая, в теле, с густою шерстью.

«Вот от такой бы я не прочь!» подумал крестьянин. «Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимою её можно держать в избе. По правде-то, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться разве?»

Владелец овцы охотно согласился, мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг, у придорожного плетня он увидел человека с большим гусём под мышкой.

– Ишь, гусище-то у тебя какой! – сказал крестьянин. – У него и жира и пера вдоволь! А, ведь, любо было бы поглядеть, стой он на привязи у нашей канавки! И старухе моей было бы для кого собирать объедки да обрезки овощей! Она часто говорит: «Ах, кабы у нас был гусь!» Ну вот, теперь есть случай добыть его... и она его получит! Хочешь меняться? Я дам тебе за гуся овцу, да спасибо в придачу!

Тот не отказался, и они поменялись; крестьянин получил гуся. Между тем он дошёл до городской заставы; тут была толкотня, люди и животные так и кишели по всей дороге вдоль канавы, вплоть до картофельного поля сторожа. В поле бродила курица сторожа, но её привязали к изгороди верёвочкою, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. Она была короткохвостая, подмигивала одним глазом и вообще на вид была курица хоть куда. «Кок, кок!» бормотала она; что хотела она этим сказать, я не знаю, но крестьянин, слушая её, думал: «Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее наседки священника; её бы я взял! Курица везде сыщет себе зёрнышко, почитай что сама себя прокормит! Право хорошо было бы сменять на неё гуся.» – Хочешь меняться? – спросил он у сторожа.

– Меняться! Отчего ж! – ответил тот, и они поменялись. Сторож взял себе гуся, а крестьянин курицу.

Не мало таки дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить! А постоялый двор тут как тут. К нему он и направился, оттуда же выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях.

– Что у тебя там? – спросил крестьянин.

– Гнилые яблоки! – ответил работник. – Несу полный мешок свиньям!

– Такую-то уйму?! Вот бы поглядела моя старуха! У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко, так мы берегли в сундуке, пока оно не сгнило! «Всё же это показывает достаток в доме!» – говорила старуха. Вот бы посмотрела она на такой достаток! Да, надо будет порадовать её!

– А что вы дадите за мешок? – спросил парень.

– Что дам? Да вот курицу! – И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошёл в горницу и – прямо к прилавку, а мешок свой прислонил к печке. Она топилась, но он и не подумал о том. В горнице было пропасть гостей: барышники, торговцы волами и два англичанина. Эти были такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, и большие охотники до пари. Теперь слушайте!

«Зу-sss! Зу-sss!» Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начали печься.

– Что это такое? – спросили гости и сейчас же узнали всю историю о мене лошади на корову, коровы на овцу и так далее до мешка с гнилыми яблоками.

– Ну, и попадёт тебе от старухи, когда вернёшься! – сказали они. – То-то гвалт поднимется!

– Поцелует она меня, вот и всё! – сказал крестьянин. – Старуха моя скажет: «Уж что муженёк сделает, то и ладно!»

– А вот посмотрим! – сказали англичане. – Бочку золота на пари! В мере сто фунтов!

– И полной мерки золота довольно! – сказал крестьянин. – А я могу поставить только полную мерку яблок да нас со старухой в придачу! Так мерка-то выйдет уж с верхом!

– Ну-ну! – сказали те, и ударили по рукам.

Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили и яблоки, и – марш к избушке крестьянина.

– Здравствуй старуха!

– Здравствуй муженёк!

– Ну, я променял!

– Да, ведь, ты уж знаешь своё дело! – сказала жена, обняла его и забыла и о мешке и об англичанах.

– Я променял лошадь на корову!

– Слава Богу! С молоком будем! – сказала жена. – Будем кушать и масло и сыр. Вот, это так мена!

– Так то так, да я корову-то сменял на овцу!

– Да оно и лучше! – ответила жена. – Ты обо всём подумаешь! У нас и травы-то как раз на овцу! Теперь у нас будут овечьё молоко и сыр, да ещё шерстяные чулки и даже фуфайки! А корова-то этого не даст! Она линяет! Вот, какой ты, право, умный!

– Я и овцу променял – на гуся!

– Как, неужели у нас в этом году будет к Мартинову дню жареный гусь, муженёк?! Всё-то ты думаешь, чем бы порадовать меня! Как ты это славно придумал! Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он ещё больше разжирел в Мартинову дню!

– Я и гуся променял на курицу! – сказал муж.

– На курицу! Вот это мена! Курица нанесёт яиц, высидит цыплят, у нас заведётся целый птичник! Вот чего мне давно хотелось!

– А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок!

– Ну, так дай же мне расцеловать тебя! – сказала жена. – Спасибо тебе, муженёк! Вот, ты послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я и подумала: «дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее – яичницу с луком!» Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойдю к жене школьного учителя. Я знаю, что у них есть лук, но она ведь скупая-прескупая! Я попросила её одолжить мне луку, а она: «Одолжить? Ничего у нас в саду не растёт, даже гнилого яблока не отыщешь!» Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок! То-то смех, муженёк! – И она опять поцеловала его прямо в губы.

– Вот, это нам нравится! – вскричали англичане. – Всё хуже, да хуже, и всё нипочём! За это и деньги отдать не жаль! – И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трёпка, целую мерку червонцев.

Да, уж если жена считает мужа умнее всех на свете, и всё, что он ни делает находит хорошим – это без награды не останется!

Так вот, какая история! Я слышал её в детстве, а теперь рассказал её тебе, и ты теперь знаешь, что «уж что муженёк сделает, то и ладно!»

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Навозный жук

Лошадь императора удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

За что?

Она была чудо как красива, с тонкими ногами, умными глазами и шелковистой гривой, ниспадавшей на её шею длинной мантией. Она носила своего господина в пороховом дыму, под градом пуль, слышала их свист и жужжание, и сама отбивалась от наступавших неприятелей. Она защищалась от них на жизнь и смерть, одним прыжком перескочила со своим всадником через упавшую лошадь врага и тем спасла золотую корону императора и самую жизнь его, что дороже золотой короны. Вот за что она и удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

А навозный жук тут как тут. – Сперва великие мира сего, потом уж малые! – сказал он. – Хотя и не в величине собственно тут дело! – И он протянул свои тощие ножки.

– Что тебе? – спросил кузнец.

– Золотые подковы! – ответил жук.

– Ты, видно, не в уме! – сказал кузнец. – И ты золотых подков захотел?

– Да! – ответил жук. – Чем я хуже этой огромной скотины, за которую ещё надо ухаживать? Чисть её, корми да пои! Разве я-то не из царской конюшни?

– Да за что лошади дают золотые подковы? – спросил кузнец. – В домёк ли тебе?

– В домёк? Мне в домёк, что меня хотят оскорбить! – сказал навозный жук. – Это прямая обида мне! Я не стерплю, уйду куда глаза глядят!

– Проваливай! – сказал кузнец.

– Невежа! – ответил навозный жук, выполз из конюшни, отлетел немножко и очутился в красивом цветнике, где благоухали розы и лаванды.

– Правда, ведь, здесь чудо, как хорошо? – спросила жука

жесткокрылая Божья коровка, вся в чёрных крапинках. – Как тут сладко пахнет, как всё красиво!

– Ну, я привык к лучшему! – ответил навозный жук. – По-вашему, тут прекрасно!? Даже ни одной навозной кучи!..

И он отправился дальше, под сень большого левкоя; по стеблю ползла гусеница.

– Как хорош Божий мир! – сказала она. – Солнышко греет! Как весело, приятно! А после того, как я, наконец, засну или умру, как это говорится, я проснусь уже бабочкой!

– Да, да, воображай! – сказал навозный жук. – Так вот мы и полетим бабочками! Я из царской конюшни, но и там никто, даже любимая лошадь императора, которая донашивает теперь мои золотые подковы, не воображает себе ничего такого. Получить крылья, полететь!? Да, вот мы так сейчас улетим! – И он улетел. – Не хотелось бы сердиться, да поневоле рассердишься! Тут он бухнулся на большую лужайку, полежал, полежал, да и заснул.

Батюшки мои, какой припустился лить дождь! Навозный жук проснулся от этого шума и хотел было поскорее уползти в землю, да не тут-то было. Он барахтался, барахтался, пробовал уплыть и на спине и на брюшке – улететь нечего было и думать – но всё напрасно. Нет, право, он не выберется отсюда живым! Он и остался лежать, где лежал.

Дождь приостановился немножко; жук отмигал воду с глаз и увидал невдалеке что-то белое; это был холст, что разложили бабы белить; жук добрался до него и заполз в складку мокрого холста. Конечно, это было не то, что зарыться в тёплый навоз в конюшне, но лучшего ничего здесь не представлялось, и он остался лежать тут весь день и всю ночь, – дождь всё лил. Утром навозный жук выполз; ужасно он сердит был на климат.

На холсте сидели две лягушки; глаза их так и блестели от удовольствия.

– Славная погода – сказала одна. – Какая свежесть! Этот холст чудесно задерживает воду! У меня даже задние ноги зачесались: так бы вот и поплыла!

– Хотела бы я знать, – сказала другая: – нашла ли где-нибудь ласточка, что летает так далеко, лучший климат, чем у нас?

Этакие дожди, сырость – чудо! Право, словно сидишь в сырой канаве! Кто не радуется такой погоде, тот не сын своего отечества!

– Вы, значит, не бывали в царской конюшне? – спросил их навозный жук. – Там и сыро и тепло, и пахнет чудесно! Вот к чему я привык! Там климат по мне, да его не возьмёшь с собою в дорогу! Нет ли здесь в саду хоть парника, где бы знатные особы, вроде меня, могли найти приют и чувствовать себя как дома?

Но лягушки не поняли его, или не хотели понять.

– Я никогда не спрашиваю два раза! – заявил навозный жук, повторив свой вопрос три раза и всё-таки не добившись ответа.

Жук отправился дальше и наткнулся на черепок от горшка. Ему не следовало бы лежать тут, но раз он лежал, под ним можно было найти приют. Под ним и жило несколько семейств клещей. Им простора не требовалось, – было бы общество. Клещихи отличаются материнскою нежностью, и у них поэтому каждый малютка был чудом ума и красоты.

– Наш сынок помолвлен! – сказала одна мамаша: – Милая невинность! Его заветнейшая мечта – заползти в ухо к священнику. Он совсем ещё дитя; помолвка удержит его от сумасбродств. Ах, какая это радость для матери!

– А наш сын, – сказала другая: – едва вылупился, а уж сейчас за шалости! Такой живчик! Ну, да надо же молодежи перебеситься! Это большая радость для матери! Не правда ли, господин навозный жук? – Они узнали пришельца по фигуре.

– Вы обе правы! – сказал жук, и клещихи пригласили его проползти к ним, насколько он мог подлезть под черепок.

– Надо вам взглянуть и на моих малюток! – сказала третья, а потом и четвёртая мамаша. – Ах, это милейшие малютки и такие забавные! Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик – а от этого в их возрасте не уберёжешься!

И каждая мамаша рассказывала о своих детках; детки тоже вмешивались в разговор и пускали в ход свои клещи на хвостиках – дергали ими навозного жука за усы.

– Чего только ни выдумают эти шалунишки! – сказали мамыши, потея от умиления; но всё это уже надоело навозному жуку, и он

спросил, далеко ли ещё до парника.

– О, далеко, далеко! Он по ту сторону канавы! – сказали в один голос клещихи. – Надеюсь, что ни один из моих детей не вздумает отправиться в такую даль, а то я умру!

– Ну, а я попробую добраться туда! – сказал навозный жук и ушёл, не прощаясь, – это самый высший тон.

У канавы он встретил своих сродников, таких же навозных жуков.

– А мы тут живём! – сказали они. У нас преугодно! Милости просим в наше сочное местечко! Вы, верно, утомились в пути?

– Да! – ответил жук. – Пока дождь лил, я всё лежал на холсте, а такая чистоплотность хоть кого уходит, не то, что меня. Пришлось постоять и под глиняным черепком на сквозняке, ну и схватил ревматизм в предкрылье! Хорошо, наконец, очутиться среди своих!

– Вы, может быть, из парника? – спросил старший из навозных жуков.

– Подымай выше! – сказал жук. – Я из царской конюшни; там я родился с золотыми подковами на ногах. И путешествую я по секретному поручению. Но вы не спрашивайте меня, я всё равно ничего не скажу.

И навозный жук уполз вместе с ними в жирную грязь. Там сидели три молодые барышни их же породы и хихикали, не зная, что сказать.

– Они ещё не просватаны! – сказала мать, и те опять захихикали, на этот раз от смущения.

– Прекраснее барышень я не встречал даже в царской конюшне! – сказал жук-путешественник.

– Ах, не испортите мне моих девочек! И не заговаривайте с ними, если у вас нет серьёзных намерений!.. Впрочем, они у вас, конечно, есть, и я даю вам своё благословение!

– Ура! – закричали остальные, и жук стал женихом. За помолвкой последовала и свадьба, – зачем откладывать?

Следующий день прошёл хорошо, второй – так себе, а на третий уже приходилось подумать о пропитании жены а, может быть, и деток.

«Вот-то поддели меня!» сказал он себе. «Так и я ж их поддену!» Так и сделал – ушёл. День нет его, ночь нет его – жена

осталась вдовой. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью настоящего бродягу. Ещё бы! Жена теперь осталась у них на шее!

– Так пусть она опять считается барышней! – сказала мамаша. – Пусть живёт у меня по-прежнему. Плюнем на этого негодяя, что бросил её!

А он себе переплыл канаву на капустном листке. Утром явилось двое людей, увидели жука, взяли его и принялись вертеть в руках. Оба были страсть какие учёные, особенно мальчик.

– «Аллах видит чёрного жука на чёрном камне чёрной скалы» так, ведь, сказано в Коране? – спросил он и, назвав навозного жука по-латыни, сказал, к какому классу насекомых он принадлежит. Старший учёный не советовал мальчику брать жука с собою домой, – не стоило, у них уже имелись такие же хорошие экземпляры. Жуку такая речь показалась невежливой, он взял да и вылетел из рук учёных. Теперь крылья у него высохли, и он мог отлететь довольно далеко, долетел до самой теплицы и очень удобно проскользнул в неё, – одно окно стояло открытым. Забравшись туда, жук поспешил зарыться в свежий навоз.

– Ах, как славно! – сказал он.

Скоро он заснул и видел во сне, что царская лошадь пала, а сам господин навозный жук получил её золотые подковы, причём ему пообещали дать и ещё две. То-то было приятно! Проснувшись, жук выполз и огляделся. Какая роскошь! Огромные пальмы веерами раскинули в вышине свои листья, сквозь которые просвечивало солнце; внизу же всюду зеленела травка, кишмя кишели цветы, огненно-красные, янтарно-жёлтые и белые, как свежесвыпавший снег.

– Вот-то бесподобная растительность! То-то будет вкусно, когда всё это сгниёт! – сказал навозный жук. – Знатная кладовая! Здесь, верно, живёт кто-нибудь из моих родственников. Надо отправиться на поиски, найти кого-нибудь, с кем можно свести знакомство. Я, ведь, горд и горжусь этим! – И жук пополз, думая о своём сне, о павшей лошади и о золотых подковах.

Вдруг его схватила чья-то рука, стиснула, принялась вертеть и поворачивать...

В теплицу пришёл сынишка садовника с товарищем; они увидели

навозного жука и вздумали позабавиться с ним. Жука завернули в виноградный листок и положили в тёплый карман панталон. Он было принялся там вертеться, карабкаться, но мальчик притиснул его рукой и побежал вместе с товарищем в конец сада, к большому озеру. Там они посадили жука в старый сломанный деревянный башмак, укрепили в середине его щепочку вместо мачты, привязали к ней жука шерстинкой и спустили башмак на воду. Теперь жук попал в шкипера и должен был отправиться в плавание.

Озеро было большое-пребольшое; навозному жуку казалось, что он плывёт по океану, и это до того его поразило, что он упал навзничь и задрыгал ножками.

Башмак относило от берега течением, но как только он отплывал чуть подальше, один из мальчуганов засучивал штанишки, шлёпал по воде и притягивал его обратно. Но вот башмак отплыл опять, и как раз в эту минуту мальчуганов так настойчиво позвали домой, что они впопыхах забыли и думать о башмаке. Башмак же уносило всё дальше и дальше. Какой ужас! Улететь жук не мог, – он был привязан к мачте.

В гости к нему прилетела муха.

– Какая славная погода! – сказала она. – У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке! Вам тут очень хорошо.

– Болтаете, сами не знаете, что! Не видите что ли – я привязан?

– А я нет! – сказала муха и улетела.

– Вот когда я узнал свет! – сказал навозный жук. – Как он низок! Я один только порядочный! Сначала меня обходят золотыми подковами, потом мне приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену! Едва же я делаю смелый шаг в свет, осматриваюсь и приглядываюсь, является мальчишка и пускает меня связанного в дикое море! А царская лошадь щеголяет себе в золотых подковах! Вот, что меня больше всего мучит! Но на этом свете справедливости не жди! История моя очень интересна, а что толку, если её никто не знает! Да свет и не достоин знать её, иначе он дал бы золотые подковы мне, когда царская лошадь протянула за ними ноги. Получи я золотые подковы, я бы стал украшением конюшни, а

теперь я погиб для них, свет лишился меня, и всему конец!
Но конец всему, видно, ещё не наступил: на озере появилась лодка, а в ней сидело несколько молодых девушек.

– Вон плывёт деревянный башмак! – сказала одна.

– И бедное насекомое привязано крепко-накрепко! – сказала другая.

Они поравнялись с башмаком, поймали его, одна из девушек достала ножницы и осторожно обрезала шерстинку, не причинив жуку ни малейшего вреда. Выйдя же на берег, она посадила его на траву.

– Ползи, ползи, лети, лети, коли можешь! – сказала она ему. – Свобода – славное дело!

И навозный жук полетел прямо в открытое окно какого-то большого строения, а там устало опустился на тонкую, мягкую, длинную гриву любимой царской лошади, стоявшей в конюшне, родной конюшне жука. Жук крепко вцепился в гриву лошади, стараясь отдышаться и прийти в себя от усталости.

– Ну вот я и сижу на любимой царской лошади, как всадник! Что я говорю?! Теперь мне всё ясно! Вот это мысль! И верная! «За что лошадь удостоилась золотых подков?» спросил меня тогда кузнец. Теперь-то я понимаю! Она удостоилась их из-за меня!

И жук опять повеселел.

– Путешествие проясняет мысли! – сказал он. Солнышко светило прямо на него и светило так красиво! – Свет в сущности не так-то уж дурен! – продолжал рассуждать навозный жук. – Надо только уметь за него взяться!

Да и как не быть свету хорошим, если любимая лошадь императора удостоилась золотых подков ради того только, что на ней ездил верхом навозный жук?

– Теперь я поползу к другим жукам и расскажу, что для меня сделали! Расскажу и обо всех прелестях заграничного путешествия и скажу, что отныне буду сидеть дома, пока лошадь не износит своих золотых подков.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...